

# Борис ХАЗАНОВ

---

Хроника N  
*Записки незаконного человека*



ImWerdenVerlag  
München 2006

© Борис Хазанов. 1995.

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. 2006. Печатается с разрешения автора.

<http://imwerden.de>

## ОТ РЕДАКТОРА

*Нами предпринята попытка придать рукописи по возможности удобочитаемый вид. Текст подвергнут стилистической правке и значительно сокращен, главным образом за счет пространных рассуждений автора. Опущены некоторые второстепенные эпизоды и большая часть «трактатов». Не поддающиеся прочтению места восстановлены по смыслу. Разбивка на главы принадлежит редактору.*

*Сведения об авторе ограничены тем, что он сам сообщил о себе. Датировка сочинения может быть лишь приблизительной. По нашему мнению, оно могло быть написано в шестидесятых или семидесятых годах. Неизвестно, являются ли «трактаты» сочинением того же автора; вопреки его заявлению о пропаже архива можно предположить, что они принадлежат перу К. К. Фотиева либо представляют собой конспекты его лекций.*

*Пользуемся приятной возможностью выразить благодарность за советы и указания г-ну Борису Хазанову и проф. М. М. Феклистову, взявшим на себя труд просмотреть рукопись.*

## Родословие и краткое жизнеописание Кузьмы Кузьмича Фотиева-Кольчугина

*(составлено по устным преданиям и при содействии дорогого,  
незабвенного Ивана Игнатьевича)*

Первый человек имел две жены, и было у него от первой жены Лилит три сына. И от младшего сына пошло потомство со своими Авраамом, Исааком и прочими, только это потомство не знало развращения, не сгинуло от потопа и размножалось беспрепятственно. Исаак родил Иакова, Иаков — Симеона, и в числе его потомков был некто, после долгих странствий пришедший в обширную землю, которая простиралась до полуденных стран, и породнившийся там с дочерьми варяжского ярла Эрика. От сына его Олафа пошел род бояр, носивших прозвище Треногие, и род этот с многочисленной челядью был истреблен при Иоанне Грозном, один человек уцелел — по преданию, кольчужный мастер. Внук этого кольчужника искал, куда деть свою удаль, и сочетался браком под именем Степана Разина с персидской княжной. Правление шахов Аббас-Треногих в Исфохане продолжалось семьдесят лет, после чего пресеклась астраханско-персидская ветвь этого рода. Другая же ветвь протянулась до нынешнего столетия и угасла с разорением и смертью князя Косьмы Порфирьевича Кольчугина, потомственного почетного гражданина, действительного статского советника и кавалера орденов. И уже после кончины кн. Кольчугина, в срок, подавший повод к разного рода предположениям, в муках родился у цыганки Ксюши, той самой, что плясала в ресторане братьев Ложкиных и прославилась исполнением песни «Из-за острова на стрежень», сын Кузьма; своё первое воспитание он получил в таборе.

Вытребованный двоюродной бабушкой Варварой Аполлинарьевной Аббасовой, младенец Кузьма находился при ней до её кончины, после чего обучался ремеслу в семье плотника Осипа Фотиева, сына крепостной девки князей Аббасовых. Накануне прискорбных событий в Санкт-Петербурге отрок Кузьма был принят в духовную семинарию, где его посетили первые мысли о воскрешении отца. В семинарии же составлено было им сочинение на тему «Как надлежит толковать слово Блаженного Августина: «Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te» (Сотворил еси нас себя ради, и неспокойно сердце моё, дондеже воскреснет в тебе)?». После диспута с наставниками в храме Кузьма Фотиев был исключен из семинарии и далее скитался. Бродячая жизнь привела его в наш город, незадолго до того захваченный, к неопишуемой радости населения, казачьей армией генерал-майора Шкуро, а далее, к столь же бурной радости, войсками батьки Махно, отрядами атаманши Маньки Трехногой (выдававшей себя за принцессу Матильду Аббас-Разину) и, наконец, Первой конной армией Буденного. Дальнейшие годы жизни Фотиева посвящены были путешествиям по отдаленнейшим областям России, отчего след его потерялся на долгие годы вплоть до... (Текст оборван. — Прим. ред.)

## I

*Основание города. — Мотивы, побудившие автора предпринять путешествие. — География нашей страны. — Беседа с начальником поезда. — Опровержение провокационных слухов.*

Город N, отсутствующий на большинстве потребительных карт Срединной России, обязан своим происхождением несчастному случаю. В XI веке местный князь Якун упал с коня во время охоты на лесного зверя и дал обет построить обитель. И тотчас некий святой вышел из чащи и протянул князю костыль. Хотя впоследствии было доказано, что никакого Якуна в действительности не существовало (опровергнуть существование святителя оказалось более сложной задачей), костыль изображен в городском гербе, да и название города намекает на эту легенду. Между прочим, это название приводит в своем поучении Владимир Мономах, который сам был известным охотником и «с коня много падах».

Употребив выражение «Срединная Россия», я мысленно противопоставил его понятию Краевой России, в которой провел некоторое количество лет; по моему глубокому убеждению; она является неподлинной. Я хотел добраться до истинного сердца моей страны. Такова была цель моей поездки, правда, не единственная. По некоторым причинам я не мог жить в больших городах, следовательно, должен был выбрать городок поменьше, а главное — подальше. Особая воронкообразная география нашего отечества объясняет смысл моего намерения: подальше от краев. Или, что то же самое, подальше отовсюду. Моя жена бросила меня за время моего отсутствия. Моя дочь меня никогда не знала. Родители мои умерли, и светила, под которыми я начал свой малоудачный жизненный путь, успели не раз поменяться местами. Я всё еще был молод, вернее, я был стар и одновременно молод, как плод, который сморщился, не успев созреть; моё прошлое было старше меня самого; я надеялся, что оно затерялось в архивах учреждений. Я был в полном смысле один как перст — обстоятельство, не лишенное преимуществ, — что же касается формальных условий проживания и трудоустройства в медвежьем углу, то, хотя, как всякий гражданин, я не имел точного представления о правилах прописки и не имел права справляться о них, следовательно, не мог ссылаться на их незнание, опыт бродячей жизни и рассказы бывалых людей позволяли мне рассчитывать на то, что я не встречу особых препятствий у властей в

какой-нибудь Тьмутаракани, куда нормального человека калачом не заманишь. «Как-нибудь устроюсь, — думал я, — а нет, так поеду дальше».

Поздно ночью я сел в поезд, отходящий от Савеловского вокзала, и через восемь или девять часов вылез на станции, где мне предстояло сделать пересадку. Было еще темно, что опять-таки объяснялось законами географии: существуют маршруты, по которым вы устремляетесь навстречу минувшему и в объятия ночи. Я сидел на лавке в пустом и холодном станционном зале, усталость сморила меня, и, обняв чемодан, с головой, упавшей на грудь, я лишился представления о времени и брел по равнине, волоча тяжелый багаж. Чемодан бил меня по ногам, я взвалил его на плечи, это был, пожалуй, не чемодан, а сундук. Я боялся, что он раскроется, что меня застанут на дороге собирающим мои тайные вещи и тетради с записками. Оставалось несколько километров до станции, небо темнело, я знал, что глина размокнет под дождем и двигаться станет совсем трудно. Подняв голову, я увидел, что сижу в зале ожидания или, вернее, стою на обочине перед шлагбаумом, поезд вот-вот подойдет. В страшной тревоге, подхватив чемодан, я собираюсь подлезть под шлагбаум, чтобы успеть добежать до станции, и вижу вдали огни паровоза, слышу лязг и шипение; как уже сказано, это был сон. Тело моё дрожало от холода, сердце сжалось от горя и одиночества. Поезд стоял у платформы. Я бросился вон из зала ожидания и через мгновение уже протискивался в тускло освещенном вагоне. Состав, громыхая, набирал скорость, и в такт ему качались, сидя и стоя, утрюмые или дремлющие пассажиры. Тщетно искал я свободное место на полках, чтобы пристроить свой багаж. Повсюду над головами и между ногами сидящих громоздились мешки, сундучки, деревянные чемоданы, на крюках раскачивались сумки с припасами. Лишь спустя некоторое время, расспрашивая людей, я убедился, что спросонья сел не в свой поезд. Контролер вертел в руках мой билет. Мы двинулись вдоль вагона, перешагивая через узлы и хватаясь за плечи сидящих в проходе, минуя гремучие тамбуры и вихляющие под ногами железные площадки между вагонами, где свистел ветер. Поезд несся вперед в неведомом направлении, на север, точнее, на северо-восток, куда ведут в конце концов все маршруты, к средоточию государства. Оттого получается, что, сколько бы вы ни ехали, сколько ни продремали, качаясь в такт стучащим колесам, видя во сне, как вы едете, — пять ли, десять часов или целые сутки, — всё это будет лишь предварением, лишь началом пути, и навстречу вам всё так же будут лететь лесные и снежные, и разбухшие под дождями, и подсвеченные темным, как охра, солнцем, и облитые лунным оловом, никем не меренные пространства. Так велика, так обширна наша Россия, и всё неотвязней, глубже и неотвратимей тянет и засасывает вас.

Начальник поезда сидел в купе первого вагона у окна за крошечным столиком, в розовом полумраке. Занавески были задернуты. И чай колыхался в стакане. Выслушав доклад контролера, начальник задумчиво взялся за ручку подстаканника, придерживая пальцем ложечку, отхлебнул и обжегся. Был задан вопрос, которого я ждал.

«У меня его... — пробормотал я и хотел сказать: украли, — у меня нет с собой. Сдал на прописку».

«На прописку? — переспросил начальник поезда, глядя на меня усталым взором, и было ясно, что он не верит мне ни на грош. — Куда ж вы теперь едете?»

«Туда и еду».

«Как же вы сдали паспорт, прежде чем приехать?»

«Куда?» — спросил я.

«Туда, куда вы едете», — сказал он, показывая на мой билет.

Контролер вмешался в разговор:

«Я думаю, надо бы товарища сдать в отделение на ближайшей станции. Там выяснят».

«Сдать бы надо», — промолвил начальник поезда и стал с большой осторожностью пить чай. Поезд качался и громыхал на стыках.

«Ладно, — сказал начальник. — Сади его, а там пускай сам разбирается».

Следующая остановка носила имя, упомянутое в поучении Мономаха, и таким образом я очутился в N.

Тот, кто прочтет мои заметки (если допустить, что их кто-нибудь прочтет), догадается, почему, едва взявшись за перо, я испытываю тяжелые сомнения. Обстоятельства, о которых мне предстоит сообщить, относятся к недавнему, но уже полузабытому прошлому. Между тем пробудившийся с некоторых пор интерес к отечественному духовному наследию не миновал моего учителя. Едва только это имя стало известно общественности, как его замарали грязные перья фельетонистов. В некоторых статьях были высказаны фантастические утверждения. Клубятся нелепые слухи. Неимоверному искажению — я бы сказал, поруганию — подверглось не только учение Фотиева, но и его судьба.

Читатель найдет здесь рассказ, который, как я надеюсь, рассеет многие заблуждения. Беру на себя смелость утверждать, что я один из немногих, кто знает правду о последних месяцах жизни незабвенного Кузьмича, как мы его ласково называли, вплоть до того дня, когда тело великого мыслителя было найдено на железнодорожных путях. Может быть, преступники рассчитывали скрыть своё злодеяние, бросив убитого на рельсы. Рядом сидел четвероногий друг, не сумевший его защитить...

Я не ищу оправданий. Мы все разделяем вину несчастного пса. Но больше, чем сознание того, что мы не уберегли учителя, меня угнетает другая мысль. Ужасная мысль: я начинаю думать, что, быть может, не так уж важно, в чьей руке оказался топор. Ибо речь идет — договорим всё до конца! — не только о жертве, речь идет о возмездии.

Возмездии? Кому и за что?

Оставим на время в стороне вопрос о том, кто спровадил Фотиева на тот свет, и спросим себя, *почему* он погиб. Потому ли, что стал добычей алчности? Запутался в сетях преступного мира? Весьма возможно, и с таким же успехом можно изобрести (и доказать) другие причины; можно указать на вероятного преступника, рукой которого, бесспорно, водили отнюдь не отвлеченные соображения. И всё-таки это была рука судьбы. Кого она избрала своим орудием — вопрос второстепенный. Тот, кто хочет спасти мир, должен погибнуть, ибо мир не хочет быть спасенным. Великое обольщение влечет за собой и жестокую кару. Скажу больше: подводя итог всему случившемуся, я начинаю подозревать, что в судьбе Кузьмы Кузьмича присутствует отблеск нашей общей судьбы, быть может, разгадка великого возмездия, постигшего наше отечество. Кто знает?

Блаженный Августин говорит о том, что наше существование содержит примесь несуществования. Такова суть бытия, и такова же природа истины: мы жаждем правды, мы хотим говорить правду, ничего, кроме правды, а меж тем выясняется, что правда лишь тогда соответствует истине, когда в ней содержится некоторая доля того, что не может быть названо правдой или по крайней мере не выглядит правдивым. Я сказал, что намерен положить конец измышлениям. Если, однако, читатель найдет в моем рассказе несуразности, если кое-что покажется ему не вполне правдоподобным, то пусть не думает, что причина этому — неуклюжее и недобросовестное перо современника. Перо, быть может, и неуклюжее, да только всё дело в том, что сама действительность не отличается стройностью и безупречным правдоподобием. Нам приходится то и дело сталкиваться с вещами, о которых трудно с уверенностью сказать, что они произошли на самом деле, но нельзя поручиться и за то, что их не было.

Вот то, чем я хотел бы предварить — или заключить — мой *récit*. Впрочем, еще два слова. Неисповедимыми путями дошел до меня дивный слух о том, что К. К. не

погиб. Говорят, он сумел в последний момент ускользнуть. Говорят, что обезображенный труп принадлежал другому лицу, темному бродяге. Якобы перед тем, как покинуть наши места, Фотиев скрывался в деревне у некоего Митяя. Утверждали также, будто в монастырской библиотеке хранился план катакомб, простирающихся на многие километры, и что будто бы Фотиев завладел этим планом. Народное воображение присоединило к этим домыслам басню о том, что Фотиев сошел в ад. Наконец, меня уверяли, что он сам распустил слух о своей смерти, а на самом деле живет где-то далеко и учит других, и совершенствует своё учение. Здравый смысл запрещает верить легендам, но как хочется в них верить!

## II

*Прибытие. — Первые впечатления. — Дуэт Лариной и няни. —  
Проблематика заполнения анкет — Счастливое водворение и отход ко сну.*

В сумерках подплыл перрон. У меня были основания опасаться подвоха, например, меня могла встретить милиция, предупрежденная по какому-нибудь дорожному телеграфу. Начальник поезда мог передумать, контролер мог сойти вместе со мной, и вообще я не знал, какие у них планы. Не дожидаясь, когда вагон остановится, я спрыгнул с чемоданом, упал на скользкой платформе, но, к счастью, не расшибся. Проводник смотрел на меня из темного тамбура. Кроме меня, никто не сошел с поезда. Никто не ждал на полуосвещенной платформе. Лишь впереди, у почтового вагона, фигура в железнодорожном зипуне, подняв диск, рисовалась на перламутровом небе. Раздался свисток, тяжелый вздох локомотива, задумчивое лицо контролера медленно поехало прочь, и три огня, два красных и один белый, растворились в тумане. Итак, я прибыл.

Когда-нибудь я напишу о томительном чувстве, которое вызывал у меня в былые времена вид тускло поблескивающих рельсов, о тоске пустынных станций, о ржавых и скользких железнодорожных сортирах, где не знаешь, куда поставить свой чемодан. Подойдя к зданию вокзала, я прочел над входом название города, одно из тех архаических наименований, о которых думают, что они давно исчезли. Зал ожидания был пуст; голые стены, потеки в углах. Изрезанная и исцарапанная скамейка, окошечко для продажи билетов и расписание поездов, которое я принялся изучать, напоминали десятки других станций. Как вдруг дуновение судьбы коснулось моих щек, это был сквозняк, дверь не закрывалась. Я подумал: а какого хрена? Родственники знакомых в другом таком же, абсолютно чужом городе должны были помочь мне подыскать жилье. Люди, которых я никогда не видел. Зачем я им?

Неизвестно, какое время показывали вокзальные часы, местное или московское, и даже трудно было с уверенностью сказать, какое было время суток. Светало или, наоборот, темнело. Камера хранения была закрыта. Городок, куда вела воздвигнутая над путями узкая эстакада, потонул в вешних сумерках: казалось, одинокая станция плыла посреди туманных далей, похожих на равнину моего сна. Молчание заброшенного края, ширь небес, тишина и счастье быть ничьим наполнили мою душу целебным покоем; нищий, дремавший у стены перед пустой своей шапкой, с подветренной стороны, где не было снега, привел меня в умиление. Я бросил монетку и услышал в ответ старомодную формулу благодарности: провинция встречала меня со скромным достоинством, приветствовала дружелюбным кивком, благим предзнаменованием.

Мысленно я произносил похвальное слово старинным, вросшим в землю, словно грибницы, северо-восточным полудородам-полудеревням, чье растительное прошлое трудно назвать историческим — скорей оно вегетировало рядом с историей — и чье

начало всегда одно и то же: некто заблудился и нашел под вязом чудотворную икону, некто удостоился видения и дал обет основать монастырь, некто повстречал нищего старца, щедро подал ему и был вознагражден сторицей; городам с тихими улочками, не настолько крупным, чтобы чувствовать себя под угрозой выселения, но и не таким уж малолюдным, чтобы каждый прохожий мог тебя узнать. Как раз на такой улочке я очутился, переехав мост через реку, уже свободную от льда, сойдя и свернув за угол в переулок. Он назывался улицей Александра Невского.

Итак, здесь даже был трамвай, правда, без номера; очевидно, единственная линия. Сумерки или особая планировка были виной тому, что я попал на окраину; чему, впрочем, был рад. Возможно, весь город состоял из окраин.

Люди моего сорта всегда готовы встретить худшее и загодя обдумывают путь отступления, но тут происходило что-то особенное, я забылся и размечтался. Предчувствие, что я обрету здесь убежище, осенило меня, и, не стану скрывать, не последнее место в этих мечтах занимала женщина. И тотчас я увидел её в серебряных сумерках: она шла вдоль канавы навстречу мне, кутаясь в вязаный платок, не очень молодая и, должно быть, не слишком разговорчивая. У неё были широкие бедра, тонкие волосы, неуловимые черты лица; я замедлил шаг, но она перешла по мосткам на другую сторону улицы и пропала. Между тем из-за цветочных горшков за мной наблюдала пожилая простоволосая тетка неопределенных лет. Я приблизился. Она приоткрыла окошко, оттуда донеслось кошачье пение, это было радио или граммофон. Не сдастся ли где-нибудь, спросил я, прочистив голос, не сдастся ли?

«А вы кто такой будете?»

Я ответил, не отвечая прямо на вопрос, что хотел бы поселиться постоянно, хозяйка продолжала меня допрашивать: в таких случаях вы всегда становитесь объектом любознательности, которая должна быть удовлетворена, прежде чем вы услышите окончательное «нет».

«У нас тут никто не пускает».

Так я и знал — и взялся за чемодан.

«Погодь, — сказала она, — вон на той стороне у Лукьяновых вроде бы жильцы снимали. Скажи, тётя Леля послала».

Я пошел к Лукьяновым; это была хибара в три окна. Выглянул старик или, вернее, старуха.

«Чего ж она людей даром гоняет. Нет у нас никаких комнат».

В дальнем конце переулочка зажегся фонарь, и от этого улица сделалась глуше, темней и длинней. Снег недавно стаял. Боясь поскользнуться, я пробирался по обочине канавы, рядом с тусклой тропой, по черной клочковатой траве. Чемодан измучил меня. Ночь опускалась на город, небо очистилось и пылало металлическим темно-голубым огнем, стекла приземистых домов блестели, как олово.

Взойдя на крыльцо дома, который указала мне старуха Лукьянова, я долго стучался, потом оказалось, что дверь не заперта. Я окликнул хозяев, никто не отозвался. Так, блуждая от дома к дому, я в конце концов оказался вновь перед домом тётки Лели.

Радио пело из «Евгения Онегина»: «Корсет, альбом, княжну Полину, стишков чувствительных тетрадь. Я всё забыла! Стала звать Акулькой прежнюю Селину».

«Вот народ, — сказала хозяйка. — Ведь пускали же, сама знаю... Вообще-то есть у меня одна комнатка. Только надо подождать».

Должна была съехать некая жиличка.

«И обновила наконец... Мой муж меня любил сердечно».

«Да, барин вас любил сердечно», — подтвердила няня.

Я стоял перед домом, хозяйка глядела на меня из-за цветов.

«А сколько ждать?»

«Денька через четыре заходи».



Какая разница? Не одна дыра, так другая. Я рассудил, что смогу переночевать на вокзале и утром уехать. Зачем вздыхать? Когда счастливо... С запада, со стороны реки, опять наплывали тучи, я укрылся под козырьком продуктового магазина, преследуемый музыкой, точно компания мурлыкающих кошек с розовыми бантиками на шее переселилась в мой мозг. И всё ниже и ниже, урча от самодовольства: «... мои дни юные текут. Я своенравна и шаловлива. Меня-я ребенком все зовут!» Сам того не замечая, я громко пел. Стало накрапывать.

Магазин был заперт на замок. Видимо, и транспорт уже не работал. Вдоль трамвайных путей я добрал до поворота и оглянулся; тусклые огоньки догоняли меня. Я бросился стремглав обратно, тем временем трамвай успел миновать остановку, я забросил чемодан на площадку второго вагона, схватился за поручни, ноги мои волочились по щебню, трамвай затормозил. Вагон был пуст, гремел и качался, вскоре гроыхание сменилось плавным повизгиванием колес, трамвай шел по мосту. Кондукторша в теплом платке, в форменной шинели стояла передо мной, протягивая, словно за подаянием, руку в вязаной перчатке с обрезанными пальцами, большим и указательным, чтобы удобно было пересчитывать мелочь. Сунув мне два билетика, она пошла к своему месту, расставляя ноги, как матрос на палубе. Новая мысль пришла мне в голову; я раздумал возвращаться на вокзал.

Кондукторша смотрела в окошко, дергала за веревку, никто не ждал на остановках, не видно было прохожих, в полутьме мы ехали за вихляющим, тускло освещенным передним вагоном по неизвестным улицам. Дождь струился по стеклам. Некоторое время спустя она указала мне на вывеску, трамвай пошатнулся и стал.

Никогда и нигде, ни в одном городе нашего государства нет и не было свободных мест в гостинице, словно в этих учреждениях проживали вместо людей статуи; вряд ли кто и решается туда соваться. Мой проект был скромнее, я надеялся провести ночь в вестибюле, всё лучше, чем на скамье в холодном зале ожидания. В отчаянии я бил ладонью в косяк, стучал костяшками пальцев по темному дверному стеклу, а вокруг бесновался дождь.

Верьте, о, верьте человеку, знающему жизнь: ничто на свете не происходит случайно. Существует закон судьбы. Вы стучитесь в запертые двери, а она ждет, когда вам надоест; и чем дольше вы упорствуете, чем дольше колотитесь головой об стену, тем дольше она ждет. А когда наконец вы поворачиваетесь, чтобы плюнуть и уйти, она хлопает вас по плечу. Я стоял на выщербленной площадке, подобной скалистому островку среди хулиганских стихий, соображая, как переправиться через воды, и в эту минуту дверь отворилась.

Полумертвый от усталости, я ввалился с чемоданом в вестибюль. Заспанная тетка прошлепала в темноте к своему месту за стеклянной перегородкой, зажгла настольную лампу. Обнаружился тесный вестибюль, пальма в кадке и два продавленных кресла. Я сказал, что хотел бы пробыть до утра. Может быть, и подольше.

«Как это: может быть? Вы что, сами не знаете?»

Я пожал плечами. .

«Документ».

Вот оно, сказал я себе, с этого надо было начинать. Мне представились глухие улицы, разливы ртути под тусклыми фонарями. Я увидел снова мост-эстакаду, мерцающие железнодорожные пути и крыши товарных вагонов. С этого надо было начать, чтобы этим и кончить. Держа в руках мой паспорт, администраторша разглядывала меня с тем же выражением, которое было на лице у девы-львицы Сфинкс, когда она проверяла документы Эдипа. Я услышал тяжелый вздох.

«Так как же?» — спросила она, разворачивая толстую книгу, возвращая мне мою книжечку.

«Если нет мест, — пробормотал я, — то, может быть...»

«Есть места, — сказала она. — Сколько пробудете?»

«Ну давайте на сутки», — произнес я или, лучше сказать, тот, кто, в отличие от меня, был способен поверить в удачу, после чего администраторша отвела меня в номер, где помещались четыре койки; на одной спал у окна постоялец, накрывшись с головой одеялом, поверх которого было брошено пальто. Я последовал его примеру.

Вновь и вновь ищешь перекресток, на котором тебя выследила и совратила судьба, гнусный сводник, сутенер. Видит Бог, я не виноват! Я всего лишь очевидец. Если бы я не решил попытать счастья в гостинице, утренний поезд увез бы меня из города. Уехав, я ничего бы не знал о том, с кем предстояло мне подружиться. Случилось бы с ним то, что случилось? Можно ли утверждать, что событий не было бы, если бы не было летописца? Вопреки всякой логике, наперекор здравому смыслу внутренний голос твердит мне, что, не оказавшись я в городе, ничего бы не произошло.

Вопрос о ночлеге, как уже сказано, был решен, теперь нам придется вернуться к той счастливой — как тогда мне казалось — минуте, когда администраторша, не сказав ни слова, возвратила мне паспорт. Я попросил разрешения зажечь свет в вестибюле и углубился в чтение анкеты.

Можно было бы сказать: с радостью приступил к заполнению анкеты, если бы не суеверие, о котором я уже упомянул, не разрешающее доверять кокетству судьбы. В графе «Цель приезда» я написал: «Посещение родственников». Конечно, меня тотчас же могли спросить, а кто эти родственники: фамилия, адрес. На что я ответил бы, что адрес мне неизвестен, я именно с тем и прибыл, чтобы их разыскать. Проверить фамилию, разумеется, не составляло труда, но в любом случае я выигрывал время. Заполнение анкет есть особого рода искусство, в котором нельзя достичь совершенства. Всё же я кое в чем преуспел и могу поделиться опытом. Не приходится сомневаться в том, что люди, способные добиться успеха в жизни, обязаны этим не чему иному, как умению предугадывать намерения вышестоящих инстанций. Никакая анкета не заполняется просто так, необдуманно и с соблюдением всей правды; ни одна анкета, если вдуматься, на это и не рассчитана. Заполняя анкету, вы должны, как в шахматах, предусмотреть дальнейшую игру на несколько ходов вперед.

Я знал, что бумага, лежащая передо мной, скрывает систему ловушек, в этом, собственно, и состоит смысл всех анкет. Существуют скрытые соответствия, тайное перемигивание далеко отстоящих друг от друга граф. Разные пункты отчасти дополняют друг друга, отчасти же — в этом и заключается подвох — друг другу противоречат. Производя операции, сходные с математическими действиями, можно получить нуль или даже отрицательное число, другими словами, разоблачить носителя неполноценных анкетных данных. В пункте «Документы, подтверждающие цель приезда» я вообще ничего не написал: иногда — в отличие от шахмат — лучше совсем не делать хода.

Всё это время призрак администраторши маячил за полупрозрачным стеклом. Мельком взглянув на анкету, она не стала утруждать себя чтением и даже, что было еще приятней, ни словом не обмолвилась о прописке. Мы двинулись в путь. На ней был синий халат, какие носят уборщицы в канцеляриях, заведующие детских садов и распорядители разного рода приютов, — не была ли и эта гостиница странноприимным домом? Вместе мы поднялись по скрипучей лестнице: она впереди в домашних шлепанцах, я за ней с чемоданом. В конце длинного перехода ступеньки снова вели вниз, в другой коридор. Здесь легко было заблудиться, чему способствовало скудное освещение, а также то, что гостиница служила для разных целей; мы проходили мимо дверей с табличками, с фамилиями начальников и заместителей, мимо чуланов и темных кухонь, где висело белье. Она объяснила, что приходится идти круглым путем.

«Второй год ремонтируют, и конца не видно». В самом деле, мы пробирались по настилам из досок, по замызганным коридорам, обходя носилки с засохшим цементом и козлы маляров. Наконец она вынула из кармана ключ и отперла комнату, где, как я уже говорил, находился еще один жилец.

### III

*Рациональная теория сновидений. — Попытки выбраться из гостиницы. —  
Этнографические наблюдения. — Обмен мнениями со старшим  
лейтенантом. — Грезы в послеполуденный час.*

Под утро привиделся мне путаный эротический сон. Тепло постели после дней и ночей, проведенных в дороге, ублажило тело и развязало язык тайнам души. Но узнать о них мы можем только на полпути между сном и явью. Мне казалось, что я уже бодрствую, между тем как образы сна всё еще мелькали в закоулках мозга, словно шкодливые дети за углами коридоров, но и это сравнение само по себе было сном: дети-карлики, дети-уроды шныряли вверх и вниз по лестницам, ползали под деревянными настилами, заляпанными известкой, и совокуплялись с ленивыми женщинами. Дети — это был я сам. Я чувствовал, что у меня мало времени, так как вот-вот проснусь.

Я лежал в светлом номере напротив пустой койки соседа, точно снова родился, и мне чудилось, что я вижу свои широко открытые, ошеломленные глаза, в которых отражалось голубое небо за окном. Мой чемодан, засунутый под кровать, был на месте. Снаружи не доносилось ни единого звука. Я нашел в конце коридора уборную и умывальник. Похоже было, что я один на всем этаже. Нужно было незаметно выскользнуть из гостиницы. Я был принужден считаться с возможностью того, что меня немедленно выставят, в противном случае должен был встать вопрос о прописке. Проживание в гостиницах всегда подозрительно, и не зря администрация предпочитает, чтобы в гостинице находилось как можно меньше людей. Человек, прописанный в данном городе, не имеет права жить в гостинице, это означало бы, что он прячется или занимается развратом. Человек, приехавший издалека, должен предъявить командировочное удостоверение. Но и оно не внушает доверия, ибо тот, кто прибыл по серьезной государственной надобности, не будет останавливаться в рядовой неведомственной гостинице. И, наконец, в любом случае слишком продолжительное пребывание в гостинице наводит на мысль о нетрудовых доходах.

Вывод: в гостинице нужно проживать, официально не проживая. Жить и в то же время как бы не жить.

Мысли об этом занимали меня, в то время как я заканчивал свой туалет. В сущности, следовало преподнести что-нибудь тетке в синем халате: коробку конфет, дешевые духи, но разве я не сказал себе, что не стану задерживаться в этом городишке? Поболтать по улицам, перекусить — и adieu.

На цыпочках я продвигался из одного коридора в другой, спустился на первый этаж, дверь, выходящая на задворки, к сожалению, оказалась запертой. Пока я соображал, куда податься, снаружи раздались шаги, заскрежетал ключ, вошел рабочий. Это дало мне возможность выскользнуть на крыльцо. Двор был завален строительными обломками, бочками из-под известки. Прыгая по доскам, обходя лужи, я добрался до ворот. Ворота были закрыты.

Следовало подумать о том, что сказать администраторше, если она остановит меня в вестибюле, между тем ноги сами собой вознесли меня на штабель; отсюда по верх забора можно было обозреть переулок. Я, однако, рисковал быть замеченным

из окон гостиницы. Спрыгнув с досок, я снова толкнулся в ворота, створы слегка подались, снаружи качался и гремел замок. Мне пришло в голову, что рабочий запер за собой дверь; я оказался в глупом положении. Мания предугадывать козни противника, все эти шахматные ходы и профилактические маневры — не навязаны ли они мне моим воображением? В конце концов я мог, забрав чемодан, спокойно покинуть гостиницу. Но я не мог туда вернуться. Почти непроизвольно я потянул створы ворот к себе, и вдруг, словно согласившись с моими доводами, ворота открылись.

В эту минуту послышалась дробь игрушечного барабана, звук трубы огласил тихую улочку. Выступил отряд пионеров со знаменем. Вожатая в красном галстуке и короткой юбке шагала рядом, не спуская глаз с марширующих. Что-то не ладилось в их движении. Знаменосец не справлялся со своими обязанностями, барабанщик бил в барабан, несмотря на то, что шествие остановилось. Дети топтались на месте, слышался распорядительный голос вожатой. Видимо, они собирались повернуть раньше, чем следовало. Мало-помалу порядок был восстановлен. Вновь затрещал барабан, слепой горнист вознес свой инструмент, блеснувший на солнце. Раздался жестяной звук. Отряд зашагал по направлению к главной улице. Я пропустил их, стоя у ворот: процессия детей-инвалидов, должно быть, питомцев какого-нибудь интерната, поразила меня неожиданным сходством с моим сном.

Мысленно напевая: «Зачем вздыхать, когда счастливо мои дни юные текут?», махая руками, я замаршировал вслед за жестяной трубой куда глаза глядят.

Отрицание может говорить больше любых утверждений, подобно тому, как истина о Творце доступна, быть может, лишь апофатическому богословию: так и о городе, куда я попал, легче было сказать, чем он не был, нежели, чем он был. Город принадлежал к той распространенной в нашем отечестве разновидности, которую можно определить словами «между тем-то и тем-то», «ни то ни сё». Климат этой части страны ни слишком суров, ни чересчур мягок; весна наступает не рано, но и не поздно.

Тусклое солнце неохотно встало над крышами. От мостовой валил пар. Люди не то чтобы торопились, но брели по своим делам, топтались на углах, побрякивали и помалкивали, стоя друг перед другом. Из окон глядели на улицу бабьи лица. Как и во всем этом крае, принадлежащем сразу двум частям света, а лучше сказать, ни той, ни другой, люди в городе N не вполне могли считаться европейцами, но, конечно, не были и азиатами: женщины с крупными спокойными лицами, с мягкими расплывающимися чертами, мужчины с характерным выражением иронической неприязни посматривали на вас, точно хотели сказать: «Нас не проведешь». «Не на таковского напал!»

Здесь обитала грибная раса, не худшая из человеческих рас и племен. Город был ни велик, ни мал. Блуждая по улочкам, сходя к оврагам, где под кустами блестела вода, переправившись по мосткам и снова шагая по переулку двухэтажных домов, внизу каменных, сверху деревянных, мимо колодцев, скворечников, сугробов черного снега, штабелей березовых дров, мимо сморщенных старушечьих лиц между цветами в низких окошках, вы могли подумать, что очутились в уездном городишке, каким он был сто пятьдесят лет тому назад. Как вдруг за рядами полуизб выставились грязно-белые многоэтажные блоки, на балконах сушились коврики и ржавели велосипеды. Здесь больше не было улиц, дворов, заборов и огородов.

Наугад вы прокладывали себе путь между сараями, обходили помойки и склоняли голову под веревками с бельем. Между тем на главной улице уже наступило лето. Вам навстречу, настырно звеня и вздымая облако пыли, несся старый трамвай. Вы плелись мимо учреждений, мимо дома культуры и решетки городского сада и косились на посеревший алебастровый бюст, огражденный декоративными цепями, этот бюст был как бы уже памятником самому себе. Вам казалось, что вы подглядели то, что

совершалось здесь в течение многих столетий: процесс забвения, который был не чем иным, как процессом пищеварения. Город перетирал беззубыми челюстями, глотал и переваривал историю и в конце концов подчинял всё вторгавшееся извне своей собственной природе. Каждые двести лет он погибал в огне или под градом снарядов, но, в сущности, был бессмертен, как некоторые организмы, способные регенерировать из ничтожных остатков, как гигантский подорожник, который чем больше его топчут, тем упорней раскидывает по земле свои пыльные листья. Город, как женщина, всё превращал в быт.

Но в таких-то вот городках, уверяю вас, обитают святые безумцы и, блуждая по тусклым улицам, разъезжаясь ногами и теряя калоши в грязи, грезят о небывалом будущем.

Некоторое время спустя я поравнялся с низким мутным окошком на уровне тротуара, и ноздри мои расширились, и глаза приковались к жужжащему вентилятору, и я почувствовал, как мой взор потускнел, и внезапное головокружение пошатнуло передо мной Божий мир.

Ветер рая! Жаркий дух бараньего рагу, костей, облитых золотисто-бурой подливкой! Запах хлебного мякиша, которым выгребают остатки жижи и промакивают кружочки жира на краях тарелки с казенным клеймом.

Первые впечатления навсегда врезаются в память, но отсюда вовсе не следует, что я непременно усматривал в них тайный предостерегающий смысл. Все мои размышления о городе и горожанах можно было бы заменить одной фразой: город был как город. Столовая была как все столовые, и ведомство, коему она принадлежала, было не хуже других ведомств и контор. В подвальной комнатке, куда сходили по ступенькам, за стеклом на высоком стуле помещалась пожилая золотоволосая кассирша, напротив перед гардеробом восседал картинный швейцар в форменном халате, с седыми пушистыми усами отставного подполковника.

Из зала выходили утомленные едоки, высасывая из зубов остатки пищи, левая рука в кармане галифе. Старец усердно подавал шинели, опускал чаевые в карман синего халата. У этих людей зоркий взгляд.

Можно было бы написать целое руководство о том, как надлежит вести себя в учреждениях общественного блага, а паче всего избегать мест, куда не положено соваться. Следовало обратить внимание на усы, которые в наших местах имеют огромное социальное, служебное и политическое значение. Но в мозгу у меня произошло короткое замыкание, я находился в сфере влияния злой планеты, ведающей пищеварительным трактом и ответственной за импульсивные поступки, насилие и бунт. «Как это не положено?» — спросил я с неопишущим, какого сам не ожидал от себя, высокомерием.

«А вот так, не положено», — мягко сказал подполковник и сделал движение рукой в направлении к выходу.

«Я спрашиваю: что значит?..»

«А вот то и значит. Давай отсюда».

Сердце моё колыхалось тяжкими толчками, я проговорил, с трудом сдерживаясь: «Где у вас заведующий? Я хочу поговорить с заведующим».

«Гражданин, — вмешалась кассирша, — вам же объяснили».

Мне удалось справиться с собой, но не вполне, а главное, ненадолго. Медленно, недобрыми шагами я приблизился к окошку и заказал борщ со сметаной, рагу из костей и компот.

Проклятая кассирша не шевельнулась.

Я повторил свой заказ.

«Без пропуска не выбиваем», — отчеканила она.

«И четыре куска хлеба, — добавил я. — Два белого, два черного».

«Василий Степаныч, милицию вызвать, что ли?..»

«Давай, давай...» — приговаривал пышноусый старец, обхватив меня сзади.

«Не смей! Не смей меня трогать! Я хочу говорить с заведующим! Где заведующий?»

Уже не испытывая ни страха, ни голода, в каком-то упоении, в восторге я выкрикивал бессвязные слова:

«Сволочи! Устроились тут!.. В вашей провинциальной дыре! Я вас всех, гадов, всю вашу шайку-лейку... На чистую воду! Вы еще меня попомните!»

«Это кто тут разорался? — сказал голос сзади меня. — Ты кто такой будешь?»

«Товарищ старший лейтенант...» — швейцар объяснял выходявшему из зала посетителю, в чем дело. Сзади толпились другие. Кассирша советовала вызвать милицию.

Воин промолвил:

«Обойдемся без милиции. Ну-ка, в сторонку».

Я прохрипел:

«Только попробуй! Только попробуй тронуть! Сволочи, кругом блат...»

«Чего?» — сказал он, прищурясь.

Кассирша выпрыгнула из своего закутка и растворила дверь, офицер вытащил руку из галифе, согнул крюком, после чего я повалился на ступени, был вытащен наверх и выставлен напоказ народу. То есть произошло лучшее из того, что могло произойти.

Я благодарен старшему лейтенанту, усатому церберу и кассирше, я благодарен толпе, собравшейся снаружи: мне сунули шапку, слышались рассудительные реплики:

«Ишь нашелся. Этак каждый захочет!».

«Небось не маленький, сам должен понимать...»

«Много вас тут шляется...»

«Не в свои сани...»

«Не в свои оглобли...»

«Шустрый нашелся. Этак каждый...»

Кто-то резюмировал происшедшее, повторив мною уже сформулированную мысль:

«Пускай спасибо скажет, что просто вытолкали».

Святая правда.

И вот вы удаляетесь под рокот народного неодобрения, бредете по переулку, вы всё еще огрызаетесь, вас всё еще не научила жизнь, вы еще не оправились от испуга. Перед вами маячат усы, в вашей безумной полуотшибленной памяти мешаются грозные окрики, планы мщения, администраторша, пионерская труба, вагоны железной дороги, неопределенные надежды и сны; шатким шагом, злобно косясь по сторонам, вы выходите на пустынную набережную, и внезапно, о чудо, суета города отлетает прочь, тяжесть постыдного инцидента сваливается, как грязь с подошв, голода как не бывало: перед вами — простор. Справа был виден мост, по которому ехал я ночью. Берег в этой части города был довольно крут и даже одет камнем, вдоль низкой ограды шел тротуар и ряд подрезанных, нагих и колючих деревьев. Низкий противоположный берег казался песчаным, там виднелись деревянные одноэтажные дома и старинная вилла с башенкой. Приглядевшись к воде, зеленовато-молочной близ берега, серой и серебристой вдали, вы могли заметить её движение, но трудно было решить, в какую сторону течет река. Далее за мостом зеркало вод раздваивалось, это был впадавший в неё приток. Всё было плоско, открыто, тихо и матово отсвечивало под пер-

ламутровым небом, и там, на пустынном мысе, с двух сторон омываемый оловянными водами, стоял далекий белый монастырь.

Делать было нечего, я упал на скамейку и в счастливом изнеможении, в трансе созерцал всю эту пустоту и красоту. В ушах звенело, и странные мысли, как отсветы бледного пламени, плясали в голове. Я лежал на дне лодки, меня уносила река. Мне казалось, что я постигаю смысл моей постылой жизни. Некоторое время спустя чья-то рука протянулась ко мне из воды, я спросил, в чем дело, и поплыл дальше. Но человек не унимался и тряс меня за плечо.

«Гражданин, — сказал он, — здесь спать не положено».

«Я случайно... извините, — пробормотал я, — сейчас уйду».

Это был милиционер, но, кажется, уже вышедший на пенсию, в потрепанной шинели без погон. Я встал и пошел прочь нарочито медленным шагом, назначив себе целью дощатый павильон, что-то вроде лодочной станции, заколоченной на зиму, а там бегом в переулок.

«Гражданин! — сказал он, повысив голос. Я остановился. — Гражданин, вернитесь».

«Что такое?» — спросил я, оборачиваясь. «Вы оставили чемодан». «Это не мой», — сказал я. «А чей же?» «Я не знаю». «Кто же знает?» — спросил он. В этот момент я проснулся. Меня в самом деле трясли за плечо.

«Вам плохо?»

Нет, подумал я. Разве только побаливала челюсть от искусного профессионального удара, которым угостил меня старший лейтенант.

«Может, вызвать неотложку?»

Я спросил:

«А сколько сейчас времени?»

«Четверть второго, — промолвил он, посмотрев на часы. — Может, всё-таки вызвать вам неотложку?»

«Нет, нет. Пожалуйста, не надо. — К этому времени я окончательно пришел в себя и даже находился в превосходном расположении духа. Старый человек, не милиция, а просто пенсионер, с палкой, в потертом пальто и толстых очках, за которыми стояли огромные блеклые глаза, наклонился надо мной. А впереди расстилалась гладь реки. — В этом, поверьте, нет необходимости».

«Ради Бога, я ничего такого не думаю. Мне показалось, что вы нуждаетесь в медицинской помощи. Кстати, неплохо бы удостовериться: не пропало ли у вас чего-нибудь».

Только теперь я обнаружил пропажу.

«Чемодан, — сказал я с ужасом. — У меня был чемодан».

«Успокойтесь. Чемодан в гостинице».

«В гостинице? — удивился я. — В самом деле... Представьте себе: я совершенно забыл».

«Я хотел сказать: не обокрали ли вас? Народ, знаете ли, бывает всякий».

«Вы правы. Видите ли, — проговорил я, ощупывая карманы, — я, видимо, просто давно не ел. Сейчас пойду пообедаю».

«Вот как», — сказал он насмешливо.

«Я только вчера приехал, — объяснил я. — А, кстати, где лодка?»

«Уплыла, — сказал он. — Откуда же вы приехали?»

«Как вам сказать? Не то чтобы очень издалека. Короче говоря...»

«Позвольте вас спросить. Не сочтите за навязчивость. Вы кто, собственно, будете?»

«А мне хотелось, — сказал я, — задать тот же вопрос вам».

«Э нет. Сначала ответьте вы».

«Почему?»

«Потому что я спросил первым».

«Кто я такой? Если бы вы мне могли ответить, кто я такой, я бы вам, знаете... заплатил сто рублей».

«А у тебя они есть?» — спросил он и растаял в воздухе.

И всё так же матово отсвечивала и едва заметно волновалась перед моими глазами ширь безымянной реки, и белела на дальнем мысе колокольня монастыря. Надо было возвращаться в гостиницу или, вернее, надо было как можно дольше не возвращаться. Город мне нравился, и в душе моей шевелилось легкое сожаление о том, что мне предстоит его покинуть. Я не знал, кто я такой, но восхитительное сознание значительности всего, о чем бы я ни подумал, не покидало меня; мне казалось, что я в самом деле ощутил какое-то подобие смысла жизни, причем не собственной моей жизни, не моего отдельного существования, — взятое само по себе, оно значило не больше, чем жизнь насекомого, которое спешит переползти дорогу, пока его не раздавила чья-то подошва, — не моего, но общего бытия, частичкой которого я был. Думаю, что я разделял это убеждение с большинством моих соотечественников. Смысл бытия — это было нечто лишаящее всяких надежд и вместе с тем воодушевляющее. Смысл бытия — это означало: хотя жизнь каждого из нас сама по себе бессмысленна и хаотична, мы все погружены в нечто неоспоримое, нечто высшее, неспешно и незаметно струящееся к дальней цели. Я смотрел на реку и думал: если совокупность наших судеб имеет какую-нибудь ценность, то лишь с точки зрения этого высшего смысла и в виду этой отдаленной цели; как государство не может принести себя в жертву отдельному человеку, но требует от человека, чтобы он сознательно слился с ним и пожертвовал собой ради него, так и смысл бытия не может раздробиться на тысячи частиц.

## Истина. Трактат о Великом магистерии.

Некто приехавший в незнакомый город не знал, как ему добраться до места назначения; денег у него было немного, он решил воспользоваться городским транспортом; смеркалось, шёл снег, на вокзальной площади зажглись фонари; он увидел трамвайную остановку, подошёл к вагоновожатому и спросил, с трудом подбирая слова чужого языка, как доехать до *Plata de veritat*. Вы, наверное, имеете в виду *Plaasa d'feritaat*? — сказал водитель и принялся объяснять. Оказалось, что добираться надо тремя трамваями и поездка займёт, не считая ожидания на остановках, не меньше часа. Разве город так велик? — спросил приезжий. Не так чтобы уж очень, ответил вагоновожатый, но всё-таки. Путешественник увидел остановку автобуса. Вам, наверное, до *Plaizza ed veritaa*, поправил его шофёр. Можете доехать. Но придётся сделать несколько пересадок. Приезжий посмотрел на тёмное небо, откуда хлопьями валил снег. Может быть, в городе есть метро? А как же, сказал шофёр автобуса, — вон там на углу.

Приезжий сошёл по ступенькам вниз и убедился, что в городе имеется огромная сеть подземных дорог. Он подошёл к большому щиту и после долгих поисков нашёл нужную остановку. Было уже довольно поздно, на разговоры с водителем трамвая и шофёром автобуса ушло слишком много времени. Усевшись у окна, гость поставил чемодан между ног, устроился поудобнее и мгновенно уснул под мерный стук колёс. Проснувшись, он увидел, что сидит один в пустом вагоне, поезд нёсся в чёрном туннеле. Несколько времени спустя достигли конечной станции, приезжий вышел и, миновав длинный, скудно освещённый переход, поглядывая на обрывки плакатов и стрелы направлений, сошёл по лестнице и оказался на другом перроне. Здесь тоже свет горел вполнакала, в этот час городские власти сэкономили электричество. Подошёл полу-



тёмный состав, и опять путешественник качался в гремучем вагоне, поглядывал на чёрные отсыревшие стены туннеля, видел тёмные фигуры дорожных рабочих, читал названия станций и прикидывал, сколько осталось до конечной остановки. Выйдя, он спустился по эскалатору ещё ниже, дождался нового поезда и ровно в полночь прибыл на станцию с названием, которое более или менее соответствовало — с поправкой на местный акцент — наименованию нужной ему площади.

*Но когда он выбрался с чемоданом наружу, он увидел перед собой всё ту же вокзальную площадь; что за чёрт, подумал он. К счастью, снегопад прекратился. Последний трамвай ожидал запоздалых пассажиров. Гость подошёл к вагоновожатому, тот объяснил, что надо ехать тремя трамваями. Но вряд ли удастся поспеть на второй трамвай, не говоря уже о третьем. Приезжий поплёлся к автобусу; шофёр дремал, положив голову на руль. Шофёр повторил то, что сказал его напарник несколько часов тому назад. Впрочем, добавил он, посмотрев на часы, вы всё равно не успеете. Может быть, на метро? — в отчаянии спросил гость. Водитель автобуса покачал головой, метро уже закрылось.*

Скиталец двинулся куда глаза глядят, половина фонарей на площади не горела, в полутьме, свернув в переулок, он споткнулся о чьи-то ноги. Это был нищий. Он сидел, прислонясь к стене дома, во всех окнах уже погасли огни. Приезжий рассыпался в извинениях. Ничего, успокоил его нищий, нам не привыкать. А ты кто будешь, спросил он. Приезжий сел на чемодан и рассказал о своих злоключениях. Надо было остаться в метро, я иногда там ночью, заметил нищий. Почему же ты сейчас не там? — спросил приезжий. Да вот, сказал нищий, задремал, а они тем временем уже закрылись. Зато познакомился с тобой. Нищий поглядел на иностранца и спросил: а тебе вообще-то куда надо? Приезжий молчал, и сиделец повторил свой вопрос по-французски. Ты знаешь французский язык, удивился гость. Нищий повторил то же по-английски. Я всё языки знаю, сказал он, оттого и сижу перед вокзалом. И с такой же лёгкостью, догадавшись по акценту гостя, перешёл на его родной язык. На радостях путешественник отвалил нищему щедрую милостыню.

*Спасибо, ответил тот, я так и думал. — О чём ты думал? — Я так и знал, сказал нищий, что мы встретимся. Но ты не ответил: куда тебе надо?*

Куда мне надо, повторил гость и вздохнул. Я теперь уж и сам не знаю. Я ищу площадь Истины. Вот так здорово, сказал нищий, подобрал с тротуара бесформенную шляпу и поднялся сам. Площадь Истины — да ведь она тут перед тобой. И он протянул руку в сторону вокзала. Пошли, сказал он, покажу. Они подошли к гостинице «Великий магистерий», газовая вывеска светилась над подъездом. А ты? — спросил приезжий. Нет, отвечал собиратель подаяний, таких, как я, туда не пускают.

## IV

*Следствие по делу о простыне. — Разоблачение недобросовестного свидетеля. — Вмешательство Бориса и Глеба. — Пир в честь моего прибытия. — Удачная контрака Алевтины.*

«Гражданин!»

Мерзкое слово, равнозначное окрику: стой, кто идет! Я попытался проскользнуть внутрь. Не тут-то было.

«Гражданин, — словно она видела меня в первый раз, — вы кто будете?»

Я пробормотал:

«Как это — кто? Я здесь живу».

Она покачала головой.

«Это кто ж это вам сказал, что вы тут живете? Вы пока еще тут не живете. Вот когда будете жить, тогда и будете шастать туда-сюда!»

«То есть как, позвольте», — пробормотал я.

Совершенно очевидно, что она имела в виду прописку. Вероятно, намекалось и на подарок. Я предпочел сделать вид, что не слышу намеков; пожав плечами, двинулся к лестнице, но администраторша преградила мне путь.

«Вас вызывают».

«Куда вызывают?»

«Вас вызывают в милицию».

«В милицию? — спросил я упавшим голосом. — По какому поводу?»

«Там узнаете», — сказала она и уплыла к себе.

Итак, меня выслали из города, а может быть, мне грозило нечто худшее. Причина была достаточной: я жил без прописки. Попытки свалить вину на администрацию гостиницы, ссылки на то, что меня не предупредили, в этих случаях бесполезны. Равным образом не имело смысла отговариваться незнанием правил прописки: хотя эти правила никому не известны, такой человек, как я, должен был знать, что не имеет права проживать в городе, во всяком случае, обязан считаться с возможностью того, что не имеет на это права. Ибо нарушение закона влечет за собой кару не только в силу самого нарушения; я должен был явиться к властям, не дожидаясь, когда меня призовут к ответу. Сам обязан был осведомиться, не нарушил ли я закон, и удостоверить в том, что нарушил.

Рассуждая сам с собой в этом роде, я доплелся до отделения. Вахтерша в мундире с вязаньем в руках спросила документы, я начал было объяснять. Она показала пальцем, куда идти. Вдоль череды дверей, за которыми помещалось начальство разного калибра, я добрал до нужной таблички, там стояла очередь просителей, но оказалось, что они ждут другого начальника. Я постучался, ответа не было. Из кабинета доносились голоса. Я вошел. За столом под государственным портретом сидел начальник в капитанских погонах и пристально смотрел на меня из-за спины стоявшего перед ним человека.

«Фамилия, документы».

Я протянул паспорт.

«Когда прибыл? — спросил начальник, листая мой документ. — Проживаете в гостинице?»

Я не имел силы разомкнуть уста и только кивал головой. Посетитель, высокий, костлявый, мигавший вытекшим глазом мужик в драном ватнике, повернул ко мне голову, как бы беря сторону начальства: оба смотрели на меня, и получалось, что подозреваемым был не он, а я.

Капитан перевел взгляд на драного мужика.

«Ты его знаешь?»

«Как же, — отвечал одноглазый, — он там каждый Божий день ошивается».

«Я спрашиваю: ты сам, своими глазами его видел?»

«Своими глазами и видел. А то как же», — подтвердил одноглазый мужик.

Дар речи вернулся ко мне, я возразил:

«Где это я ошиваюсь?»

«Помолчите. Будете говорить, когда вас спросят, — промолвил начальник. Тем временем он переписывал что-то из паспорта в протокол допроса. — Вот видите, — проговорил он, поднимаясь из-за стола, — какая история. — Он выглянул в коридор. — Тося! Как там насчет?..»

Я взглянул на мужика в ватнике, он смотрел, не отрываясь, на меня, но не здоровым глазом, а вытекшим и мигал кустиками ресниц.

Вахтерша вошла с чаем.

«Свидетель показывает, что видел вас на рынке, — продолжил капитан, принимая от неё стакан. — Вы подозреваетесь в том, что, украв простыню, продали её на толкучке».

Простыня! Не могу передать, каким счастьем для меня было услышать эти слова. Каждый знает, что начальство не может заниматься двумя делами сразу, оно может расследовать только одно нарушение, остальные в этом случае его не интересуют. Осмелев, я спросил: «Какая простыня?»

«Обыкновенная; которую вы загнули».

Я возразил, что моя простыня лежит на месте в номере, хотите, справьтесь у администрации.

«Да не ваша, — с тоской сказал начальник, — а у соседа». Дело, таким образом, выяснилось просто: некто, ночевавший накануне в моем номере, исчез, прихватив казенную простыню. Как же этот кривой мужик мог меня видеть на рынке, спросил я, ежели я только приехал этой ночью?

«А это ты у него спроси», — сказал начальник.

«Врет он, я его вчерась видел. И на прошлой неделе видел. Он с безногими в домино играет».

«Кто, я?!»

«А кто же».

«Ах ты, сволочь», — сказал я.

«Тихо! — гаркнул капитан. — Попрошу соблюдать порядок. Отвечать, когда спрашивают. А то, понимаешь, начинают галдеть... Ну, а ты, — спросил он, — с ними тоже играешь?»

«Не, — сказал одноглазый. — Они меня выгнали».

«Так. Значит, говоришь, выгнали. А, между прочим, за что?»

«Почем я знаю».

«Как же это ты не знаешь? Тебя выгнали, и ты не знаешь. А вот я тебе сейчас напомним. Ты в воскресенье играл?»

«Ну, играл».

«Проиграл?»

Следствие продолжалось, капитан пил чай и делал пометки в протоколе.

«Что, играть нельзя, что ли?» — спросил одноглазый.

«Я спрашиваю, — сказал начальник, — ты за проигрыш расплатился? Не расплатился. Тебе велели в понедельник принести долг? Велели».

«Ну и что. Все играют».

«Во-первых, обращаю внимание, что азартные игры запрещены. А во-вторых, ты долг не принес, и тебя твои дружки не только прогнали, но и по шеям надавали. Вот теперь отвечай, какой из этого следует вывод».

«Какой?» — спросил кривой мужик.

«Надо было где-то доставать деньги».

Быть может, то, что всегда вредило мне в сношениях с властями — мой интеллигентный вид — произвело на этот раз благоприятное впечатление. Я вернулся в гостиницу, а на другое утро, не изведав никаких видений, освеженный крепким сном, сел в трамвай и поехал на улицу Александра Невского.

Тётя Леля сидела на скамейке перед домом, точно ждала меня. «Я уж думала, другую квартиру нашёл».

Что бы ни означали эти слова, я понял, что мне идет счастливая карта. Жиличка съехала. Мы взошли на крыльцо. Из сеней вела наверх узкая крутая лесенка. Дом, казавшийся небольшим, внутри был устроен довольно сложно; наверху находилось несколько дверей, одна из них, как можно было догадаться, выходила на чердак; был еще чулан, и была комнатка с кроватью и табуреткой. Мы сговорились о цене. На заднем дворе была вытряхнута из матраса старая труха, жертва и очевидец бессонных ночей неведомой мне квартирантки; свежую солону надо было купить на рынке. Я

вручил тётё Леле задаток, почти опустошив свой кошелек, оставалось съездить в гостиницу за чемоданом. Не без злорадства представлял я себе разочарованную мину администраторши, в чьей снисходительности более не нуждался.

Необходимо упомянуть о разговоре, который предшествовал моему вселению. Было бы странно, если бы данная тема не была затронута. Как уже сказано, я поспешил внести плату вперед, хотя от меня этого не требовали. «А паспорт?» Я замялся. «Надо тебя прописать», — сказала она. «Видите ли, дело в том...» «Что, нет паспорта?» «Есть, но... насчет прописки. У вас это сложно?» «Да ты жить-то у меня хочешь али нет?» «Тётя Леля, — сказал я, — это просто счастье, что я вас нашел». «Ну, так в чем дело, где он у тебя».

Было решено вечером устроить новоселье. Меня ожидал еще один приятный сюрприз. Сойдя вниз в пиджаке, в чистой рубашке, при галстукe, я увидел в просторной горнице застеленный белой скатертью обеденный стол, в кухне за перегородкой журчало сало; и тут в комнату вошла с тарелками в обеих руках женщина в светлом платье, с клипсами в ушах, с красными бусами на груди, молодая, или по крайней мере казавшаяся молодой, так что я с трудом её узнал.

Из угла похожий на большой зеленый цветок раструб граммофона издавал низкий звук, к которому подмешали песку: «Я неспособна к грусти томной. Я не люблю сидеть в тиши!»

«Вот уж не знала, что встретимся», — промолвила она, расставляя закуски.

«И на балконе ночью темной. Вздохать! Взды-ха-ать!»

Я спросил:

«Вы тут живете?»

Она не ответила. Явление тётё Лели с огромной сковородой вывело её из затруднительного положения. Хозяйка посчитала стулья, её заскорузлый палец описал в воздухе ромб. «Чего ж земляк-то опаздывает?» Мы уселись с трех сторон стола. Четвертый стул был, очевидно, предназначен для мужа Алевтины.

«Ну-с, чтобы всё у нас было по-хорошему, — вздохнув, промолвила тётя Леля. — С Богом...» Мы подняли граненые рюмки с той непонятной неловкостью, почти неохотой, какой всегда начинается русское застолье. Женщины принялись за еду, я же счел своим долгом взять инициативу, то есть бутылку, в свои руки. Выпили по второй. Понемногу смущение рассеялось.

«Часу так в одиннадцатом, — рассказывала с заблестевшими глазами Алевтина, — еду я, вагон пустой, совсем меня сморило. Еду и сплю...»

Она объяснила, что любит работать во вторую смену. С шести до семи, конечно, толкотня, зато потом такая благодать.

«Ты гостя-то угощай, — заметила тётя Леля, — небось соловья баснями не кормят».

«Кушайте... Ну, вот, сижу и вдруг вижу, пассажир входит, по всему судя, приезжий. Вежливый: товарищ кондуктор, обращается ко мне».

Обе женщины рассмеялись.

«А ты из каких краев будешь?» — спросила тётя Леля.

Я сообщил кое-что о себе, деликатно обходя главное, и моя сдержанность была оценена; мне не задавали лишних вопросов. Тётя Леля сказала со вздохом:

«Жизнь есть жизнь. Алевтина, ты куда смотришь?»

Граммoфон пел:

«Зачем вздохать, когда счастливо?..»

«Мне нравится ваш город, — сказал я, берясь за вилку. — Красивый город».

«Город-то красивый, — возразила тётя Леля, — да вот только...»

«И очень древний. О нем еще Владимир Мономах упоминал».

«Кто?»

«Владимир Мономах. А ваша улица названа в честь святого Александра Невского, знаете, кто это такой?»

«Да заткни ты ему глотку, ну его к Богу в рай...»

Алевтина поднялась, одернула платье, мельком взглянула на себя в зеркало, висевшее над комодом, и отвернула адаптер.

Я продолжал:

«В житии говорится, что слава Александра Ярославича разнеслась по всем соседним землям, так что магистр Ливонского ордена решил самолично познакомиться с ним. «И возвратися ко своим, и рече: прошед страны и языки не видех такового ни во цари царя ни во князех князя». Ни об одном князе нет такого множества преданий, — сказал я. — Но видите ли, в чем дело: любое, даже самое фантастическое известие содержит зерно исторической истины».

«Кушайте», — сказала Алевтина.

«Спасибо. Вот, например, есть такая легенда, а может, и не совсем легенда. Биргер, шведский воевода и зять короля, вторгся из полуночной страны во владения Александра. И вот, представьте себе: на рассвете, когда шведы еще не успели подойти к Новгороду, дозорные услышали шум на море. Имеется в виду Ладожское озеро... Они решили, что враг приближается на кораблях, подбежали к берегу и видят: в тумане по морю плывет ладья под серебряным парусом. Посреди судна стоят два мужа в красных плащах, а гребцы «аки тьмой одеани». Братья-князья Борис и Глеб, убитые двести лет тому назад, стоят, положив руки на плечи друг другу, и смотрят вдаль пустыми глазницами... Вдруг один из них шевельнулся и показал рукой на берег. «Брате Глебе, — сказал он, — поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». И тотчас корабль растаял в утренней мгле. Князь узнал об этом и сказал дозорному: «Никому не рассказывай». И в тот же день шведы были разбиты на Неве, причем Александр ранил Биргера в лицо копьем».

Женщины слушали меня очень внимательно. Тётя Леля сказала:

«Ты прямо как профессор. И откуда ты всё это знаешь?..»

«Тут, правда, есть одна неувязка, — заметил я, — если он не велел рассказывать, то откуда же автор жития узнал об этой истории?»

После некоторого молчания тётя Леля промолвила:

«Да, жизнь есть жизнь. Я вот тоже одна четырех воспитала».

Она вышла из-за стола и вернулась с ветхим альбомом фотографий. В альбоме лежала церковная справка о браке. Тётя Леля вышла замуж за лодочника, всё Заречье в то время было еще деревней. После революции построили деревянный мост, в войну он сгорел, а уж потом соорудили нынешний каменный и провели трамвай. Муж тёти Лели, как можно было догадаться, спился. Оба сына не вернулись с фронта, старшая дочь была где-то замужем. Свой рассказ тётя Леля поясняла, водя пальцем по фотографиям.

Увлеченные разговором, мы не сразу услышали стук в дверь.

«А! — раздался голос тёти Лели в сенях. — Явился, не запылится».

Поразительное стечение обстоятельств продолжалось: опоздавший гость был не кто иной, как тот самый человек, который сидел с шапкой на вокзале в день моего прибытия и первым приветствовал меня в этом городе.

Он принарядился, на нем был потертый пиджак, несколько неумело повязанный галстук и сапоги — обыкновенный наряд интеллигентного человека в провинции. Могу сказать — в наших краях. То, что случилось позже, не изменило моего отношения к приютившему меня городу. Вечер в гостеприимном доме тёти Лели, чистая скатерть,

абажур, граммофон, общество двух женщин, старавшихся выказать мне свою симпатию, и, наконец, чудесное явление учителя... как мог я не благословлять судьбу?

Не то чтобы я внезапно утратил никогда не покидавшую меня бдительность. Помнится, меня даже осенила на короткий миг абсурдная догадка — так загорается красный огонь светофора, — слишком уж складно выглядела вся история нашего знакомства, слишком благоприятны были обстоятельства. И я подумал, что гость успел каким-то образом сообщить обо мне матери и дочери, что за легкостью, с которой мне дали пристанище, прячется коварный план. Мысль, повторяю, совершенно несурьезная, ни на чем не основанная, разве что на уверенности, будто ничто в нашем мире не происходит случайно.

«Явился, — говорила хозяйка, — философ!.. Чай, много заработал? Грех один, и сказать стыдно».

«Можете не извиняться, Ольга Харитоновна, мы с товарищем в некотором роде знакомы...»

Тётя Леля с удивлением посмотрела на меня.

«Да ты никак уж всех тут знаешь».

Алевтина пошла разогревать остывшую еду.

Я спросил:

«Почему они вас так называют?»

«Не знаю. Впрочем, я в самом деле философ, вернее, тот, кто доказал ненужность философии. Это ведь тоже своего рода философия, не правда ли?.. Итак, — сказал Фотиев, усаживаясь и берясь за рюмку, — с новосельем?» \

«С новосельем!»

«Я вам объясню, — продолжал он. — У меня нет времени ходить на службу».

«Он у нас...»

«Да ладно тебе. Это потом; Бог даст, не последний раз видимся. Вы ведь к нам насовсем?..»

«Я неспособна к грусти томной! Я не люблю мечтать в тиши!»

«Ты подумай, — сказала тётя Леля. — Сам включился».

«Я просто хотел сказать, — говорил Фотиев, не дожидаясь, когда Алевтина выложит на тарелку всё содержимое сковороды, и энергично жуя, — я хотел сказать, м-да... что моя профессия, в сущности, ничем не хуже всякой другой. Все мы на земле нищие, все просим милостыню у природы. Чего ты мне всё наливаешь, я же не пью!»

«Авось не помрешь», — отвечала хозяйка.

«Другой раз, если вы согласны продолжить знакомство, я поясню свою мысль подробней. Кстати сказать, у нас бездельников нет, поверьте мне, сбор подавания — это тоже труд. Ваше здоровье».

Тётя Леля подошла к зеленому пластмассовому цветку сменить пластинку, это был уже не «Евгений Онегин», а что-то попроще, и приблизилась к Фотиеву, притопывая, поводя плечами и приговаривая: «Их! Их!..» Алевтина пригласила меня. Я не решался встать. Гость сидел боком к столу, заложив ногу за ногу, и смотрел на женщин. Тётя Леля, приплясывая, вышла и вернулась. Спустя минуту граммофон умолк, жестяной скрежет раздался над ухом, заставив меня вздрогнуть и обернуться: было что-то богатырское в развороте плеч, горделивая беззаботность во взгляде, с которым Кузьма Кузьмич, вознеся свежесбривший подбородок, раздвинул половинки баяна. Алевтина, выставив скрещенные руки перед грудью, склонив голову, с подпрыгивающими красными бусами, с затуманенным взглядом била каблуками на одном месте. Тётя Леля упала на стул, обмахиваясь платочком: «Ух! Сил моих нет». Баян заливался и рокотал всюду.

Жизнь приглашала меня, как Алевтина, сплясать впрыскалку, а я боялся встать. Отделенная от меня, она называлась судьбой. И ныне я задаю себе всё тот же вопрос: был

ли я на высоте своего предназначения, своего, так сказать, сюжета? Повесть моей жизни обратилась в вязкое многословие, в ворох всяческих «хотя» и «в то время как», и, листая её, я не могу прочесть на её страницах простой и убедительный смысл.

Гармонист дремал, уронив голову на свой умолкший инструмент. Тётя Леля, казалось, витала мыслью в невозвратимом прошлом. Стук каблучков и веселье сменились тихой скорбью.

Вдруг Алевтина спохватилась, что уже поздно. Она стояла в пальто и без конца поправляла платок на голове.

«Проводи девушку», — сказала тётя Леля.

Я спросил Алевтину:

«Что, у вас тут шалят?»

«Всякое бывает. Бывает, и раздунут».

«Ваш муж так и не пришел».

«Он и не придет», — сказала она.

«Он что, работает?»

«Работает...»

Мы брели впотьмах в сторону, противоположную трамвайной линии. Было скользко. Алевтина взяла меня под руку.

С Александра Невского свернули на соседнюю улицу. Я спросил о Фотиеве. «Помешанный», — сказала она. По зыбким мосткам перебрались через кювет. Вдруг она остановилась. Мы стояли, затаив дыхание, и ждали, когда люди, если это были люди, пересекут улицу. Там тоже остановились. Мигнул карманный фонарик. Их было двое или трое. Возможно, они старались разглядеть нас. Теперь было ясно, что они нас поджидают. Раздался свист.

«Та-ак, — пробормотала она. — Чужало моё сердце... Сволочи. Говноеды».

Но смотрела она не на них, а вокруг.

«Дай-ка мне...» — прошептала она. Я подкрался к канаве и выдернул доску из мостков.

«Ты их знаешь?»

«Еще бы не знать. — Алевтина протянула мне небольшой предмет. — Держи губами, вот так».

Позволю себе небольшое отступление: мне кажется, это была черта, унаследованная от древнейших времен. Я имею в виду знакомство всех «говноедов» друг с другом, кого бы ни подразумевала под этим словом моя спутница. Через столетия ночи, минуя эпохи, когда о городе не было никаких известий, когда он погружался, как затонувшее судно, в ил и суглинок истории, сохранилась эта семейственность, и кто знает, не была ли она залогом того, что город N не исчез, не превратился в другую букву алфавита. Вы не сразу замечали узы родства, давно переставшего быть кровным, но постепенно вам открывалось сходство лиц и голосов, стигмы наследственности, если не генетической, то иной, которую можно назвать геолого-почвенной, наследственности известняка и глины, мало-помалу она подчиняла себе и пришельцев. Внутреннее знание всех друг о друге, понимание, которое не нуждалось в дружеских формах общения, да и самая обыкновенная вероятность встретиться друг с другом в лавках, в трамвае, в закоулках Заречья подпитывали эту общность, лапидарно выраженную в реплике Алевтины.

С воинственным криком предков, подняв доску над головой, она бросилась вперед. Я за ней, разбрызгивая грязь и отчаянно вереща милицейским свистком. «У! У-у!» — выла Алевтина. На перекрестке улиц мы остановились. Высоко над нами в прозрачном дыму облаков стояла луна. Алевтина поправляла платок. Мы рассмеялись.

«А ты говоришь, — сказала она, тяжело дыша. — Снимут всё и спасибо не скажут. Испугался? Свисток верни».

Мы вошли в дом.

## V

*Сомнения, вызванные предложением молодой женщины остаться на ночь. — Роль телосложения в истории народов. — Знакомство с влиятельным лицом. — Не вполне ясная цель поездки в рабочий поселок.*

Дом был темный, как погреб. Алевтина вела меня за руку. Взойдя на второй этаж по скрипучей лестнице, мы прокрались по коридору, она вставила ключ в скважину, скрипнула дверь, сухо щелкнул выключатель. Над столом висел матерчатый абажур. Потолок и вся остальная часть комнаты были погружены в зеленоватый сумрак. В углу, на широкой кровати с никелированными украшениями, спали дети. Мне понравилось жилище Алевтины.

«Пожевать бы чего-нибудь, — бормотала она, раскрывая створки буфета, — я толком и не поела... Может, стопочку примешь?»

Я ответил, что мне надо идти, тётя Леля ждет, неудобно.

«Чего неудобно? В этакую темнотищу».

Мы оба взглянули на будильник. Алевтине надо было выходить в утреннюю смену.

«Когда ж ты спать-то будешь?»

«Небось высплюсь. Как пройдет толкучка, часикам к девяти, самое время покемарить. Да я могу спать в любое время, — сказала она, — отрываю билеты, а сама сплю. Даже сны вижу».

Я спросил:

«Какие?»

«Чего?»

«Какие сны?»

«Всякие. Бывает, толкаюсь между пассажирами и сплю, мелочь считаю и сплю, и представь, вижу то же самое, вот как наяву: будто я на работе, объявляю остановки, и будто вагон едет всё быстрее и быстрее, вожатый не слышит, что я объявляю, а всё почему? Потому что он сам тоже спит. И вот мы несемся, несемся...»

Она умолкла.

«А то бывает, настоящие сны вижу. Тебя раз видала».

«Как это?»

Я рассматривал фотографии на стене.

«А вот так. Какой ты есть. Даже, пожалуй, еще получше, — засмеялась она, — не такой голодный».

«С чего это ты взяла, что я голодный?»

«Да по тебе видно...»

Мы снова замолчали.

«Муж? — спросил я, глядя на статного молодца в фуражке набекрень, с чубчиком и в сержантских погонах. Рядом помещалась она сама.

«Это когда еще женихались... Что, красивая я была?»

«Ничего».

На мой вопрос, где работает её муж, она ответила:

«Да здесь и работает. В нашем парке, ремонтником».

Я пробормотал:



«Знаешь, я всё-таки пойду».

«Да не придет он. Чего ты забоялся? Его... ну, в общем, он не придет. Его в командировку послали».

Всё еще принаряженная, она подошла к кровати поправить одеяло, девочки-близнецы барахтались во сне, свет и голоса тревожили их. Мы сидели за столом друг против друга под зеленым абажуром, между нами стояла пригубленная рюмка с водкой, лицо Алевины было погружено в тень, пальцы перебирали бусы.

«Не найдется ли там работа и для меня?» — спросил я.

Она усмехнулась.

«Найдется, никуда твоя работа не денется. А зачем тебе работать? У нас мужики только числятся, а не работают. Баб вокруг вон сколько...»

«А твой?»

«Чего мой?»

«Твой мужик работает?»

Она вышла и вернулась с матрасом. Расстелила его на полу.

«Думаешь, я бы побоялась идти домой одна? Пусть бы только попробовали, я бы им голову проломил. Это они парочку увидели... Ну что, парочка, баран да ярочка, будем укладываться, что ли? Я завтра уйду, ты спи, не вставай. Если тебе куда надо, в коридоре».

Если несколько миллиметров носа Клеопатры решили судьбу Рима, то какую же огромную роль должно играть соотношение продольных и поперечных размеров тела у тех, кто правит государственным кораблем и вершит историю. Не идеи и не классовая борьба, а телосложение вождей решает участь народа. Тощие расставленные ноги в трубчатых сапогах, в галифе, съезжающих с плоских ягодич, дикая воля в провалах глазниц и отсутствие аппетита. Лихорадочный обмен веществ, отчего эти люди как бы сторают в собственном пламени. Вот где коренятся идеалы братства и равенства, самоотверженной битвы за освобождение угнетенных. Вот вам вся программа революции, воплощенная в астенической конституции вождей. Но в дальнейшем она уступает место иному типу, костлявые идеалисты становятся ненужным и нежелательным элементом. Выдвигается бычья конституция людей с хорошим пищеварением. Расширяется нижняя половина лица и сужается верхняя. Люди-дыни приносят с собой новое понимание государственных задач. Вдвое увеличивается число дырочек в поясных ремнях, государственные галифе отражают более просторное мировоззрение. Представитель власти не может быть нищеводом.

Дородный человек в пальто начальственного покроя, в шляпе и в сапогах с достоинством поднялся по ступенькам. Он не успел постучаться, как навстречу выбежала разодетая в пух и прах тётя Леля.

«Батюшки, гость-то у нас какой!» — закричала она. — А я-то думаю, кто ж это к нам пожаловал: никак сам Борис Борисович? Да нет, думаю, не может быть, Борис Борисович человек занятой».

«Вот, решил прогуляться по городу, — отвечал начальник. — Поглядеть, как народ живет».

«Да неужели пешком?»

«Отчего ж? Полезно. Кгм! Эге, — крикнул Борис Борисович, сдавая пальто на руки хозяйке, и то, что оказалось под пальто, было выдержано в аналогичном стиле: штатский бостоновый пиджак, под пиджаком форменная рубашка с галстуком. Ансамбль дополняли просторные синие галифе. — Да у тебя всё уже на мази!»

«Сердце чуяло, Борис Борисович. Во сне видела, коляска едет. Спрашиваю у людей: к чему бы это?»

«Ладно болтать-то...»

«Может, освежиться хотите, руки помыть?.. Ты где? — спросила тётя Леля озабоченно. — Ты тут?.. — Я стоял на лесенке, одетый как положено, словно загримированный актер, который дожидается выхода. — А это вот, познакомьтесь... новый жилец у меня. То есть пока что еще не жилец.

Я выдвинулся на порог, отвесил поклон, между тем как хозяйка сдержанно расхваливала мои достоинства, как бы примеряя их к воображаемой анкете.

«Попрошу садиться», — кратко промолвил гость. Хоть и без погон, Борис Борисович, без сомнения, находился по крайней мере на одну ступень выше капитана, перед которым я предстал по случаю пропажи простыни.

«Весна-то какая ранняя, Борис Борисович, благодать».

«Да, климат у нас здоровый».

«Батюшки, у меня там всё сгорит».

Начальник стал накладывать себе закуску.

«Давно в городе? — осведомился он. — Профессия есть?.. — С бутылкой в руке он грозно осматривал стол. — Хрустали у тебя, конечно, отменные, — заметил он подоспевшей тётя Леле, — только ты бы лучше нормальные стопки поставила... М-да! Работать кем собираешься?»

«В трамп арке бухгалтера ищут, Борис Борисович. Человек самостоятельный, непьющий...»

«А ты за него не отвечай, он сам ответит. Посмотрим сейчас, какой он непьющий, хе-хе... Угм. Ну-с! Будем, как говорится».

«Борис Борисович, — голос тётя Лели, не теряя подобострастия, становился задорнее и фамильярней, — я ведь сразу угадала. Как шаги закрипели под окном, так сейчас и подумала: а ведь это Борис Борисович!»

«Ладно болтать...»

В свою очередь и начальник мало-помалу спускался со своих высот; это выражалось в том, что он снял и развесил на стуле пиджак, оттянул книзу галстук и принял из рук хозяйки полотенце, которым время от времени утирал чело и затылок.

«Так, говоришь, зятя себе нашла?»

«Какой зять. Борис Борисович, дочка у меня замужняя».

«Знаем, всё знаем...»

«Человек самостоятельный, отчего, думаю, не пустить. Колбаски берите... Вроде, думаю, город у нас не режимный».

«Много ты знаешь...»

«Да где уж нам! Откуда? Кушайте, вон селедочка. На рынке брала. У Лукьяновых тоже зять вернулся, вроде бы слышно, его прописали. А тут человек одинокий, желает стать на правильный путь. Нет, думаю, чем в паспортный стол толкаться, дай сперва посоветуюсь с Борис Борисычем».

«Да знаем мы его, — сказал начальник. — Привлекался по делу о банде, ворующей бельё из гостиниц».

«Батюшки! Да неужто...»

«Привлекался, говорю. А ты тоже: пускаешь кого ни попадя».

«Да ведь откуда нам, Борис Борисович?.. Вот, может, селедочки».

«Я не говорю — член банды. Нами он проверен, состава преступления нет».

«Ох, я уж напугалась. — Тётя Леля повернулась ко мне. — Чего ж ты мне-то ничего не говоришь?»

Некоторое время спустя постучали в дверь, это оказалась Алевтина. К тому моменту, когда она появилась в платке, с озабоченно-деловым видом, точно заглянула мимоходом, атмосфера визита переменилась, пиршественный стол выглядел не столь официально, а начальник милиции Борис Борисович являл собой зрелище одновременно величественное и скорбное. Он сидел, точнее, полулежал со съехавшим набок

галстуком, с расстегнутой грудью, был покрыт крупными каплями пота и произносил нечто вроде инструктивного доклада для узкого круга. Тётя Леля сидела, пригорюнившись и подперев щеку кулаком. Комнату заливал багровый закат, малиновым огнем вспыхивали граненные рюмки, потолок плыл в дымных облаках. Борис Борисович медленно встал, раздавил в тарелке окурок и побрел в сени.

«Проводи», — очнувшись, шепнула теля Леля.

Прежде чем я сообразил, кому она доверяет это важное поручение, Алевтина, скинув пальто, бросилась за ним. Немного погодя начальник вернулся в значительно лучшем виде, с подтянутым галстуком, умытый и умиротворенный.

«Эх, дочка у тебя, — проговорил он, — кабы я был помоложе лет на десять...»

Мы с Алевтиной делали вид, что едва знакомы друг с другом.

«От нас ничего не скроется, — продолжал Борис Борисович. — Ты вот небось думаешь, окосел майор, сейчас он тебе все секреты и выдаст. А зачем тебе их знать? Откуда такое любопытство? Может, ты тоже связана с преступниками, так и скажи, всё равно от нас не скроешься. Ладно, не бзди...» — сказал он хитро-добродушно, подцепил на вилку снедь и внимательно оглядел её, как криминалист вещественное доказательство. Получив подтверждение своей версии, он отложил вилку с едой в сторону.

«У нас, чтоб ты знала, везде свои люди. Опять же возьмем для примера это белье... Мы эту банду обезвредили. И зятя твоего заодно проверили. Пушай живет. Пушай включается в трудовую деятельность... Где у тебя... давай его сюда...»

Я взглянул на тетю Лелю, она важно кивнула головой и вручила мой паспорт Борису Борисовичу. Он запихнул его в нагрудный карман.

«М-да... Но в том-то вся закавыка, что дело с бельем только ма-а-лый корешок, — он показал кончик пальца, — а надо выкорчевать весь бурьян, все сорняки полностью. Плевелы, едри их... Вот возьмем такой пример: в горторге на Комсомольской, сама знаешь».

«Как не знать», — поддакнула тётя Леля.

«Крупнейшая недостача. Только еще начинаем разбираться... В привокзальном ресторане — недостача. В занюханной, понимаешь, лавчонке на трамвайном кольце, на окраине, у черта на рогах, домишко еле видный, товара на три копейки. Громадная недостача: тысяч десять как минимум. Это что, случайное совпадение? Что они, друг о дружке не знают?.. О чем это говорит? Это говорит о том, что все друг на друге завязаны. Единая, глубоко законспирированная сеть. Значит, надо искать связных. Где сидят связные? Ясно где: в конторах. В потребсоюзе, в промкоопе, в снабжении. Спрашивается: а ревизия была? Была. Межведомственная инспекция приходила? Приходила. Вот и акты: всё чин чинном. Рука руку моет. Значит, и туда ведут нити. Вдруг, понимаешь, старушонку на базаре ловят с цветами. Сотрудник спрашивает: «Что, бабуса, торгуешь помаленьку?» «Да какая у нас торговля!» «А большой у тебя огород?» «Да какой огород, нет у нас, — говорит, — никакого огорода». «Ясенько, а цветочки откуда?» «Дома выращиваю...» «Ну пошли посмотрим твою оранжерею, опытом поделишься». Конечно, ничего нет, живет в одной комнате, на окошках чертополох. Это что, отдельный, так сказать, случай? Откуда, спрашивается, у старушонки цветы? Случайностей не бывает! Всё связано. А где главари? Главарей надо искать выше. И не только в области, может, даже и не в Москве. За океаном! Главари — там: направляющие центры, службы».

Сказав это, он выпил и закусил вещественным доказательством.

Мы сидели, подавленные этой жуткой картиной.

«Туда мы, конечно, не доберемся, — жуя, сказал Борис Борисович. — Но уж в городе всю паутину подметим, всю сеть раскроем! Преступники всегда друг дружку находят, закон уголовного мира. Ты — мне, я — тебе, там дядя Вася, здесь тётя Маруся, рука руку моет, рыбака рыбака видит издалека! Или вот возьмем проституцию.

Конечно, у нас проституции как социального явления нет. Но ты как-нибудь сходи на автовокзал, для интереса. Ты небось и не знала, что там целый бордель существует? Да, и не догадаешься, где. В рейсовом автобусе! Есть такой автобус: снаружи всё чин чинарем, а внутри бордель. И, конечно, никуда такой автобус не ездит, плати деньги и входи. Только билетик будет подороже. А ревизия нагрянула, кругом все свои люди, — где автобус? Нет автобуса. В рейс ушел! Значит, нити ведут в кассу, а в кассе, заметь, тоже недостача».

«Господи милостливый Иисусе, да откуда ж всё это берется, Борис Борисович? — сокрушалась тётя Леля. — Раньше народ был честный».

«Америка, всё Америка».

«Раньше люди Бога боялись».

«Насчет Бога не знаю».

«А правду говорят, я всё хотела спросить, что американцы у нас рак распространяют?»

«Этот вопрос, — сказал начальник, — в настоящее время расследуется».

Всё складывалось наилучшим образом, теперь я мог, не дожидаясь, когда мне вернут паспорт с пропиской, заняться своим трудоустройством.

Выйдя переулками к невысокой насыпи, мы остановились, немного погодя за поворотом раздался скрежет колес. Алевтина поднялась на насыпь и помахала рукой. Мы вошли в пустой вагон, Алевтина осталась на передней площадке и болтала там с вагоновожатыми, лузгая семечки.

Я ни о чем не расспрашивал мою спутницу, полагая, что она лучше меня знает, к кому обратиться. Мы, однако, не доехали до трамвайного парка, вернее, мы ехали в другую сторону. Местом назначения оказался рабочий поселок имени кого-то, улица вела нас мимо грязно-белых барачков, помоек, веревок с бельем, дощатых столов, за которыми сидели пенсионеры. Дикие подростки выплясывали над футбольным мячом, с кудахтаньем разбегались куры.

Я поглядывал сбоку на Алевтину... По мере того как мелочи повседневной жизни, обсуждение моих дел, в котором принимали участие, не слишком интересуясь моим мнением, обе женщины, по мере того как всё это приближало и привязывало нас друг к другу, Алевтина становилась для меня всё более загадочной, непроницаемой и недоступной. Мне казалось, что, заботясь обо мне, она в то же время мною пренебрегает. И то, что я не мог толком понять её намерений (я полагал, что мы идем договариваться с кем-то о моей работе), было частью всё той же неизвестности, которая окружала её, как дымовая завеса — воинский отряд или полупрозрачный наряд — невесту. Видимо, она питала ко мне симпатию. Но это была симпатия коренного жителя к бестолковому гостю, сострадание закаленного аборигена к бледнолицему пришельцу, снисходительность женщины к недотепе-интеллигенту, жалость, не отделимая от презрения.

Пусть не упрекнут меня в пристрастии к громким словам: она была не что иное, как истина жизни. Простая и непроницаемая, подобно тому как непроницаемым, неразличимым в облаке тумана представлялось мне её тело. Странно было бы, не правда ли, если бы я не подумывал о ней как о добыче. Была ли она красивой? В платье с красными бусами, в лифчике, поднимавшем грудь, она могла показаться юной и привлекательной, в грубой одежде кондукторши выглядела почти уже не женщиной. Ей могло быть сильно за сорок, могло быть и меньше тридцати. И всё же я не был настолько самонадеян, чтобы тотчас расценить её готовность прийти мне на помощь как обещание близости: мысль о том, что мы могли бы сойтись, — тем более что её замужество выглядело сомнительным, да и мамаша, кажется, не имела ничего против, — мысль эта хоть и мелькала в моем сознании, но как-то не занимала меня. Скорее это был вопрос власти

и порабощения. Словом, ко мне относились, как принято было относиться к мужчине в этих местах: как к чему-то хотя и необходимому, но не заслуживающему уважения. Меня взяли с собой, как берут, отправляясь по делам, ребенка. Сбитый с толку, приниженный и пристыженный, я едва поспевал за ней.

В нас летел мяч, словно пушечное ядро; она отшибла его. Нас обогнал грузовик. Мы прошли замусоренный поселок. Ряды приземистых дощатых сараев, над которыми кое-где торчали железные трубы, отделяли его от бугристого поля, прорастающего первой нежной травой, впереди стоял синий лес.

«Ты отдохни маленько... — проговорила она, поглядывая по сторонам. — Я сейчас».

Она пошла между сараями, прыгая через лужи, там сидел старик на солнышке, перед дверью на табуретке. Некоторое время они толковали о чем-то, словно двое глухонемых: он мотал головой и разводил руками. Алевтина порылась в кошельке и дала ему денег. Дед, согнувшись в три погибели, силился почесать спину под ветхим пиджаком: Алевтина, выпятив губы, сунула руку и стала чесать; постепенно его борода опустилась на грудь. Он спал. Она вернулась.

«Зря тащились, ети его мать...»

«А в чем дело?»

«Да ни в чем, — буркнула она. — Я думала, он тут ошивается».

«Кто?»

«Да никто».

«Мы же хотели...» — пробормотал я.

«Чего мы хотели, ничего мы не хотели. Я-то, дура, нарочно отгул взяла... Поехали».

Послышался слабый возглас, старец звал Алевтину.

Она обернулась и крикнула:

«Ну чего тебе?»

Он ковылял к нам с табуреткой в руках.

«Некогда мне с тобой лясы точить».

«Алюшка, доченька», — сказал старик.

«Какая я тебе доченька? Ты мне больше не родня. Надоели вы оба, глаза бы мои вас не видели».

Он сел на табуретку.

«Да как же я-то?»

«Авось не пропадешь».

«Аля! А ведь ты меня любила».

«Это тебе приснилось».

«Эва! Приснилось. Небось забыла. А я помню. Я всё помню! Если надо, и на суде вспомню».

«Чего?! А ну-ка повтори. Ах ты, старая мотня! Еще грозит мне. Да я сама сейчас пойду и всё расскажу».

«И ступай! Рассказывай!.. Чего ты будешь рассказывать? Меня первого послушают, не тебя, сучку. Старикам везде у нас почет. Мне терять нечего. Нищему пожар не страшен».

Разговор в подобном роде продолжался еще несколько минут, а когда мы вернулись домой к Алевтине, нас ждала неприятная новость.

## VI

*Отец семейства. — Проблема юридического статуса. —  
Снисходительность жены конунга. — Совместное исполнение песни о  
летчиках. — Созерцание жареных рыбных молок в витрине  
продовольственного магазина.*

Новостью, впрочем, она была только для меня: Алевтина если и была удивлена, то лишь в первую минуту. Дверь оказалась запертой изнутри. Она постучалась, стукнула кулаком. Там как будто колебались. Алевтина тоже находилась в некотором раздумье.

«Отворяй, — сказала она наконец. — Думаешь, я не догадалась?.. Ты где взял? — спросила она, когда мы наконец вошли в сумрачное жилье. — Где ключ взял, я спрашиваю!»

Сиплый голос ответил:

«Где взял, там и взял».

Человек вернулся на своё место, он сидел у окна (занавеска была задернута) в чисто прибранной комнате, повернув к нам лицо, темное на фоне светлого окошка.

Гость смотрел не на Алевтину, а на меня.

«Это кто?»

«Свои».

Помолчав, он спросил:

«Небось не ждала?»

«На ждала. И папаня твой ни слова».

«Чего папаня? Папаня тут ни при чем».

Она села, развязала платок.

«Это как надо понимать: ты откуда взялся?»

«Оттуда. А ты, я вижу, время даром не теряешь!»

Он поднялся, приблизился и оглядел меня с головы до ног. Он был ниже ростом, но крепче, в темной рубаше, в сильно потертом пиджаке и сапогах-кирзачах, с кирпичным лицом, похожий и непохожий на свой портрет на стене.

«Вас как звать, позвольте узнать?»

«Ну, ты, — вмешалась Алевтина, — ты полегче, небось не у себя дома...»

«Я? Не у себя дома? Интересное кино получается. Чей же это дом, может, твой?..» — Гость схватил со стола пустую пачку из-под папирос, скомкал, порылся в пепельнице, добыл чинарик.

Она снимала пальто и платок.

«Разбежалась, сука, — бормотал он, досасывая окурок, — хахаля привела».

Алевтина вынимала из комода белье и рубашки.

«Ну-ка, милый, — промолвила она, — покажи документы».

«Чего?»

«Документы, говорю, покажи».

Человек повернул голову в мою сторону.

«Вали отсюда, — сказал он коротко, не повышая голоса. — Муж с женой разговаривают, не х... тебе тут ошиваться».

«Слыхал, что я сказала? Паспорт!»

«Нет у меня паспорта».

«Куды ж он делся?»

«Никуда. На прописку сдал».

«Так, значит, на прописку. Вот я сейчас пойду в милицию и проверю».

«Проверь, мне-то что».

«Вот пойду и проверю».

«Иди. Беги».

«Ну вот что, — сказала она после некоторого молчания, — я твое барахло собрала, забирай, и чтоб я духу твоего...»

Он закричал:

«Ты чего здесь стоишь? Чего торчишь тут, едрена вошь, вали отсюда!»

«Легче. Разорался», — буркнула Алевтина.

Муж посмотрел на неё долгим взглядом.

«Аля, — сказал он вдруг, — чего ж ты делаешь? Чего ж ты человека топишь? Я к тебе, может, по-хорошему пришел. Отец пришел, — закричал он, — супруг твой, поняла?...»

Она вздохнула, уселась на табуретку, он смотрел на её колени.

«Где дочки? В садике?»

«Дочки, — проговорила она. — Вспомнил. Какой ты им отец? — Усталым голо- сом она позвала меня: — «Мойсеич... не в службу, а в дружбу. Сходи, милый».

«Может, мне лучше?...»

«Ни в коем разе».

Вернувшись несколько позже, чем требовалось для того, чтобы выполнить её поручение, я увидел накрытый стол, оба сидели друг против друга. Алевтина молча приняла от меня покупки, муж с откупоренной бутылкой, с деловым видом ждал, когда она разложит по тарелкам снедь. Первая стопка была выпита молча.

«Ты не удивляйся, всё бывает... (Я согласился, что всё бывает.) А что я могу поде- лать? По правде-то сказать, я на него давно рукой махнула...»

Гость усмехнулся, но о паспорте речи больше не было, она лишь спросила: «На- долго?»

«Чего надолго?»

«Надолго к нам прибыл?»

«Не. Надо на восток подаваться. Дела...»

«Какие это такие у тебя дела?»

«Есть один керя в Челябинске».

«Челябинск — режимный город», — сказал я.

«Ты-то откуда знаешь?»

«Откуда и ты», — сказала Алевтина.

Человек закричал:

«Землячок! Чего ж ты молчал, едрена вошь!»

«Не тебе чета», — заметила она.

«Фашист, что ль? Давай выпьем. Фашисты, не фашисты, один хрен».

Наступило время подвести некоторый итог, и она промолвила:

«Ладно, меня твои дела не касаются, ничего не знаю, ты меня не видел, я тебя тоже не видела. Ты только по-честному скажи: ты в бегах?»

«С чего это ты взяла? Ну, ты даешь...»

«Тебя выпустили?»

Он ответил:

«Хер они кого выпустят».

Трапеза продолжалась, из отрывочных реплик мало что можно было понять: не драпанул, но и не был освобожден; паспорта, разумеется, не было; отбывал срок где- то недалеко, очевидно, в колонии, был расконвоирован, может быть, даже выпущен, последнее, впрочем, представлялось сомнительным; если и освобожден, то без разрешения покинуть предприятие; якобы отпросился на два дня, но и это выглядело неправдоподобным.

Короче говоря, не беглец, но и не законный человек; а впрочем, кто знает? Короче, обретался в некоей расщелине между законами, но такой ли уж это невероятный случай? Я сам, в сущности, находился в такой же щели.

«Ты мне только скажи. Тебя кто-нибудь видел?»

Он покачал головой.

«Небось Федосья кривая уже прибежала?»

«Какая Федосья; я дверь запер».

«Небось прибежала. Или от дружков прячешься?»

«Нет у меня никаких дружков. Завязал».

«А если ночью придут?»

«Кто придет-то?»

«Кто, кто... Известно кто».

«Не придут. Говорят тебе, я отпросился».

«Чтой-то я не слышала, чтобы отпускали».

«А энтот кто тебе будет?» — спросил он осторожно.

«Не твое собачье дело! Жилец у матери; он никому не скажет».

Стало смеркаться, но свет мы не зажигали.

«Пойти сходить...» — пробормотала она, поднимаясь.

«Ты куда? — Он вскочил. — Сука буду, пришью на месте».

«Да сиди ты, — сказала она лениво. — Чего всполошился? Пришью... Моё дело, куда хочу, туда иду».

«Аля, — сказал он грозно и стукнул кулаком по скатерти. — Алевтина!»

Она завязывала платок на затылке. Гость — или хозяин — сидел, туго уставившись перед собой. Я вышел следом за ней. В сумерках она пересекла наискось пустынную улицу. Близнецы были у соседки, Алевтина хотела попросить её оставить детей у себя на ночь. Я поджидал её, сидя на ступеньках. Дом дышал, как усталое животное. Это был бревенчатый двухэтажный дом, полный жильцов и в то же время нелюдимый; кто были его обитатели? Едва ли за всё время мне навстречу попался кто-нибудь из них. Старый дом опустился на подстилку ночи. Он стоял посреди посада, недалеко от торговой площади; на спусках к реке теснились квети, спокон веков здесь обитал ремесленный люд. Дом возвышался над избами и клетушками, словно терем, и в нем останавливался каждый раз богатый гость, когда приплывал с товаром из сказочных южных царств.

И случилось однажды, что Олаф, так его звали, увидел на площади, в толпе народа, человека, убившего много лет назад его благодетеля, от которого Олаф перенял торговлю. Он подошел и окликнул убийцу. «Узнаешь меня?» — спросил Олаф и, не дожидаясь ответа, всадил ему топор в голову. После этого Олаф побежал к Сигурду, своему родичу, а Сигурд повел его к конунгу. Дело в том, что в те времена не только в городе, но и за стенами, в посаде, строго охранялось спокойствие, и каждый, кто убил другого без суда, сам подлежал суду и смерти. Но Сигурд надеялся, что конунг пощадит богатого гостя.

Тем временем сбежался народ, искали убийцу и требовали расправы. На крыльцо вышла княгиня и кое-как успокоила их, сказав, что властитель сам разберется и накажет преступника. На самом деле князь, или конунг, как его всё еще называли, ничего не знал о случившемся; княгиня вошла в горницу, где стоял с опущенной головой Олаф и рядом с ним его родственник Сигурд. «Неприлично, — сказала она, — убивать среди бела дня безоружного человека, даже если он виноват. Но еще неприличней будет, если мы казним такого пригожего молодца». Гость упал на колени и посмотрел ей прямо в глаза. Она же взирала на Олафа как бы в некотором замешательстве. Наконец, она сказала: «Теперь я вижу, что ты можешь убить. Встань. Мало



тебя наказать, — добавила она, уходя к себе. — Тебя надо повесить». Несколько дней спустя властитель присудил денежную пеню за убийство, и Олаф, заплатив пеню, при содействии супруги конунга скрылся.

«Алевтина», — сказал в темноте голос гостя, незнакомый, неузнаваемый голос.

«Чего тебе?»

«Алевтина! Иди к мужу».

Она не отвечала, и наступила бесконечная звенящая тишина.

«Иди к мужу!» — повторил он строго.

«Какой ты мне муж?»

«Алевтина, твой муж вернулся. Последний раз говорю».

«Спи. Мне завтра рано вставать. — Тяжко вздохнув, она села на краю кровати. — И ты тоже. — Это было сказано мне, пишущему эти страницы. — Делить меня, что ли, хотите?»

«Алевтина».

«Сейчас из дому выгоню. Вот как Бог свят, выгоню. — После некоторой паузы она проговорила: — Кровя у меня».

«Врешь, сука. Ты с хахалем легла».

Снова наступило молчание.

«Я завтра сам уйду, ты и не услышишь. Последнюю ночь с тобой... Рядышком полежим... Последний раз встречаемся. Аля, больше ты меня не увидишь. Ну прости меня.. Ну, чего ты мерзнешь, чего мерзнешь-то? Я же слышу, ты совсем заоченела... Говорю тебе, не трону: полежим рядом, и всё. Падла буду. Ты меня знаешь. Алюша... Ну, уважь хоть последнюю просьбу».

Она сидела в ногах кровати, и в темноте, как сквозь удушливый газ, до меня доносился её плач.

«Еще бы мне тебя не знать... — лепетала она, — кровосос, всю мою душу вымотал. — И вдруг со злобой: — Катитесь вы все подальше! У, сволочи! Нужны вы мне... Уйду от вас. Разбирайтесь тут сами».

С этими словами Алевтина встала и приблизилась к ложу, устроенному на полу. В темноте белела её рубашка.

Некоторое время там лежали не шевелясь, затем раздались слабый стон, шорох, шум борьбы, злое сопение мужчины, жестокий натиск и оборона и блаженный вздох. И наступила окончательная, глубокая и непроницаемая тишина, ночь ступила до полного мрака; мы лежали втроем в глубокой, как колодезь, комнате, и все трое видели один и тот же сон.

Да, во сне мы были вместе, нас связала общая судьба, двое мужчин каким-то образом уместились в одной женщине. Во сне мы были одно и то же лицо, я и гость, и во сне я как будто угадывал смысл того, что в дневной жизни было только простой данностью. Мгновенное событие замедлилось, как если бы растянулась резиновая ось времени. Горечь переполняла моё сердце, единственным утешением было то, что всё это совершалось не со мной: не я, а он лежал на кровати и внимал происходившему на полу: я сам был занят тяжким трудом проникновения, не он, а я исполнял эту повинность. Я должен был опуститься на дно, добраться до сути вещей, я понял, что не зря оказался в городе, ибо город и был женщиной и засасывал меня в свою воронку. И всё же я не достиг цели: струна времени, растянутая до предела, до небытия, лопнула: наступило утро.

На рассвете вопреки своему обещанию муж Алевтины не исчез, молча сидел, поглядывая в окно. Пили чай. Алевтина резала колбасу.

«Слушай сюда, как тебя... — сказал он, дожевывая еду. — Сядь-ка ближе; я чего сказать хотел. Ты мою Алевтину... — он погрозил пальцем, — понял? Чтоб у меня был полный порядок! Всё равно узнаю. У меня тут свои люди. Чтоб всё у вас было чин чинарем. Бросишь её, приеду, убью. Я тебе её доверяю».

Подкрепившись, он прочистил горло и запел:

«Пора в путь-дорогу!»

«Тихо, ты!» — испугалась Алевтина.

«А чего? Не бзди, не услышат. В дорогу дальнюю, дальнюю».

Алевтина подтянула тонким голосом:

«Следить буду строго, мне сверху видно всё, ты так и знай!»

Делать было нечего, я присоединился к поющим:

«Над милым порогом качну серебряным тебе крылом».

«Пушай! — заорал он. — Пушай судьба забросит нас далеко, пушай».

Алевтина — нежным грудным голосом:

«Ты к сердцу только никого не...»

Ублагодотворенные идиотизмом этой песни, ярким солнечным утром, сознанием близкого расставания, мы сидели за столом, мы были одна семья.

«И ты тоже, — говорил он. — Ты у меня смотри! Чтоб никому, ни с кем!.. Приеду, всё узнаю. Вот тебе твой муж вместо меня... Пока не вернусь. С ним живи и больше ни с кем, поняла?.. С бабами, — продолжал он, повернув ко мне коричневое лицо, — надо строго. Извини, я по-простому: мы тут все свои. Как у тебя насчет мужского дела? — Я пожал плечами. — Алевтина! Тебя касается. Как он, на высоте?»

«На высоте», — сказала она смеясь.

«То-то».

Я возразил, что у нас с ней ничего не было.

«Чего ж ты врешь? — сказал муж Алевтине. — А может, он того? Ты скажи прямо: мне надо быть спокойным. Я семью оставляю. Я должен быть за свою семью спокоен (он говорил: сёмью). Бабе что надо? Чтоб с ней спали, так я говорю. Алевтина?»

Чаепитие было закончено. Наступила пауза. Гость пригорюнился, что-то соображал, отогнув занавеску, пристально смотрел в окно.

«Такие дела... — проговорил он. — Пора в путь-дорогу. Землячок! Подь сюда...»

«Чего тебе еще надо?» — сказала Алевтина.

«Одолжи стольник».

«Чего, чего?»

«Сто рублей, говорю, одолжи. На карманные расходы».

«На какие такие расходы?»

«Верну. Некогда мне тут с вами лясы точить».

«Вот и вали отсюда. Нет у него денег, понял?»

К несчастью, это соответствовало истине.

«Ах ты, сучий потрох! — сказал он, — Нет денег! И еще к бабе моей подкатился. Давай живо; некогда мне тут с вами...»

«Вот сейчас пойду позову милицию. Вот как Бог свят, пойду позову милицию»..

«Ладно. Полста».

«Сейчас пойду!»

«Куда? Стой, сука! Тридцатку, больше не прощу».

Она вырвалась, схватила платок, пальто.

«Всё расскажу, — бормотала она, — а там пушай разбираются. Пушай, сами решают...»

«Пу-у... — негромко затянул муж Алевтины, развел руками, весь затрясся, шлепнул в ладоши и притопнул ногой. — Пушай судиба забросит нас далеко, пушай!»

Аля! Жена!... Последний раз видимся. Червонец, лады? Больше не прошу. Сле-е-едить буду строго!»

«Вот сейчас... как Бог свят...» — бормотала Алевтина. Она сунула ему деньги, скомканную бумажку, и больше мы его не видели.

Дни становились длиннее, из морщин и выбоин земли, из-под строительных обломков вылезла буйная трава, пыль клубами летела за громяющим трамваем, мухи грелись на солнцепеке, за заборами бушевала черемуха. Наступление шло такими темпами, что, казалось, в считанные дни сопротивление будет окончательно сломлено и настанет вечный день. Лунная цитадель врага была обложена со всех сторон, последние резервы ночи еще держали оборону; оборотни и вурдалаки, дрожа, сидели в подвалах: утро, словно разведчик, подкрадывалось к траншеям; войска шли вперед, добывая всё еще не желавший сдаваться май.

Делать было нечего. Лежа у себя в каморке на соломенном тюфяке, как Марк Аврелий в походной палатке, я предавался философским мечтаниям. Я мог оценить преимущества моего положения. Никто не покушался на моё одиночество, никто меня ни о чем не расспрашивал, не навязывался в приятели, не оскорблял хамскими приветствиями, никто не спрашивал у меня документы и не гнал на работу.

Наметившееся устройство моей жизни, тишина старого дома настроили меня на возвышенно-отвлеченный лад, мысли мои текли, как туманный ландшафт перед взором усталого путешественника. И если я не решался в силу известного лицемерия назвать себя счастливецом, то по крайней мере понимал, в чем состоит счастье, одинаковое для человека и улитки.

Крадучись по привычке, я сошел вниз и выглянул из дома тёти Лели; стоял прекрасный день. Как и тогда, в день моего приезда, продуктовый ларек у остановки был закрыт на учет, трамвай перевез меня через мост, в город, где бездомный и мучимый комплексом неполноценных документов я провел мои первые дни. Как давно это было!

Незаметно для себя я усвоил это словоупотребление. Так говорили мои новые знакомые: тётя Леля и соседи. Они говорили: «Была в городе». «Поехала в город», — как будто сами не были горожанами, как если бы их отношение к городской цивилизации еще хранило память о временах, когда всё, что составляло нынешнее Заречье, было не городом, а предместьем. Но и на другом берегу обыватели, отправляясь в недалекий путь, говорили: «Пойду в город», так что в конце концов получалось, что «город» — это просто улицы, на которых они не жили, и даже те, кто проживал в центре на главной улице, говорили, выходя из дому: «Пошла в город». Город всегда был рядом, но он не был ничьим домом, и все жили вокруг него. Может статья, никакого города не существовало, а был один сплошной пригород, вечный посад. Со своими князьями и башнями город предстал как фантом истории, посад был её реальностью. Город воплощал тайну бюрократии и величие власти; посад являл собой прозу жизни. Века кое-что переменили: и теперь конторы, отделы, комитеты и управления — это был, так сказать, невероятно размножившийся князь, между тем как жители, хоть и были прописаны в городе, оставались слобожанами. Город возвращался в посад, как блудный сын, как беглая жена. Город можно было разрушить, даже стереть с лица земли. Посад был бессмертен.

Однако забота о хлебе насущном гнала слободского жителя вон из его берлоги. Неподалеку от столовой Военторга (той самой), на другой стороне знакомой улицы виднелась вывеска магазина, я приблизился к толпе и спросил, кто последний; неизвестно было, что дают, неизвестно, начали ли давать. Подвизайтесь войти сквозь тесные ворота, говорит апостол. По прошествии некоторого времени очередь пришла в движение, теснимый сзади, я достиг ступенек входа, поднялся, был сброшен, сно-

ва поднялся и понемногу втиснулся внутрь. Там колыхался какой-то туман, видны были головы со сбившимися платками, с гребенками, повисшими на растрепанных волосах: и вопли женщин метались, как птицы в вольере. Две очереди, в кассу и к прилавок, двигались друг другу навстречу. Пронесся слух, что дают по полкило на руки. Немного спустя стали продавать по триста граммов. Наконец, воображение уступило место действительности, и действительность превзошла мечту. Лоснящиеся руки продавщицы накальывали чеки, накладывали товар большой ложкой на чашу весов, заворачивали в оберточную бумагу. «Люся! Больше не пробивай», — раздался её приказ. Давка повернула к кассе, я был среди последних счастливых. Толпа, сотрясаемая родовыми схватками, выдавила меня перед хрустальным саркофагом прилавка. У прилавка происходил яростный торг. Задние торопили передних, продавщица, сложив руки на перепачканной груди, с величавым спокойствием обозревала толпу, и все поносили друг друга. Запах кружил мне голову. Притиснутый к витрине, я не мог оторвать взгляд от серо-оранжевой горки в плоской вазе из плексигласа на толстой ноге: это были жареные в масле тресковые молоки в панировочных сухарях.

Разрешишь ли мне терпеливый читатель поделиться давним воспоминанием об огромном далеком городе, который я никогда больше не увижу? В квартире над нами, в комнатке с попугаем, с китайскими веерами на стенах, с портретами томных красавиц, проживала некая дама, чье имя потонуло вместе с Атлантидой моего детства. Время от времени она посещала нас и награждала меня карминовым поцелуем против моей воли, ибо я знал, что он мысленно предназначался не для меня, а для моего отца. И вот однажды, сходя по лестнице с пирожными, — это не были прославленные *madeleines*, но, клянусь, не уступали им, оранжевые с белой прослойкой крема, с нежной кремовой лепниной на глазированном верху и, должно быть, красиво уложенные веером по краям, с круглым бисквитным шедевром посередине, — однажды с вазой в руках, которую она несла перед собой, как жрица священную чашу, облаченная в переливчатый шелковый наряд, в туфельках на шатких каблуках, она поскользнулась и, рыдая от горя и неудач одинокой жизни, подбирала искалеченные пирожные и осколки стекла, когда я выбежал на лестничную площадку и взирал на неё с откровенным злорадством. Задаешь себе вопрос: где хранилась эта энграмма памяти, где пролегал извилистый ход, пробудивший во мне перед витриной с молоками воспоминание об этой вазе?

## Книга жизни. Трактат о паспорте.

*К числу великих открытий нашего времени, сравнимых с открытием генетического кода или расшифровкой экзотических письменностей, по праву нужно отнести разгадку паспортного шифра. Истолкованию четырехбуквенного алфавита наследственности предшествовала гениальная догадка о том, что мы имеем дело именно с алфавитом; мысль о том, что древняя наскальная надпись представляет собою текст, а не орнамент, была первым шагом, за которым последовали попытки чтения. Разгадать смысл, тающийся в сочетании букв и цифр, из которых состоит номер паспорта, было бы невозможно, если бы не был осознан фундаментальный факт: это сочетание не может быть случайным.*

*Единство знака и означаемого, нерасторжимая связь буквы и сущности: текста и мира — такова основополагающая концепция, позволившая проникнуть в тайну паспортного кода; идея, восходящая к гениальным прозрениям классиков иудейской Каббалы.*

*Как известно, паспортный номер состоит из римских цифр, букв русского алфавита и арабских цифр. Примером расшифровки поверхностного, наиболее доступного слоя значений может служить истолкование римских цифр как индикаторов политической иерархии граждан. Четыре группы, на которые разделено население, подразделяются на сорок разрядов.*

*Первая группа, от I до X разряда, — чины государственной безопасности, ответственные партийные работники, высшие офицеры, работники идеологического фронта, писатели, артисты. Вторая группа (разр. XI–XX) — члены их семей. Третья группа (XXI–XXX) — лица со стигмами государственной неполноценности: рабочие, служащие, труженики села, нищие и некоторые другие. Особый случай представляет четвертая группа, состоящая из заключенных. Строго говоря, разряды XXXI–XL не являются гражданами, так как у них вообще нет паспорта. Иными словами — этот любопытный вывод был сделан в последние годы, — паспортный код предусматривает наряду с реальными паспортами существование воображаемых паспортов. Имеются сведения о существовании пятой группы; по некоторым предположениям в неё входят лица с так называемым, пятым пунктом. Эти сведения нельзя считать доказанными. Помимо разряда, римская цифра имеет несколько других значений, в частности, может указывать на класс похорон — от кремлевской стены до лагерных полей захоронения.*

*Как уже сказано, эти и сходные с ними интерпретации, давно вошедшие в обиход, представляют собой образцы наиболее простого декодирования. Значительно больший интерес представляет комбинаторика, основанная на переводе букв в цифры (римские и арабские) и переключении цифрового кода на буквенный; появляется возможность кодировать важнейшие даты жизни (рождение, окончание средней школы, женитьба, арест и т. п.). Важно отметить, что элементами кодирования являются не только сами знаки паспортного номера и их группы (кодоны), но и места в последовательности знаков, а также — в определенных случаях — пропущенные (подразумеваемые) знаки. С другой стороны, каждому символу отвечает понятие, выражающее ту или иную черту характера, внешнего облика, анатомического строения, нервно-эндокринного аппарата и общей психофизиологической конституции индивидуума. В итоге мы получаем совокупную характеристику владельца данного паспорта. К сожалению, до сих пор невозможен *experimentum crucis* паспортистики — сравнение результатов чтения паспортного кода с расшифровками, хранящимися в государственных канцеляриях и архивах.*

*Удобства свернутой информации, какую представляет собой паспортный номер, очевидны. Материалы многостраничного досье упакованы в компактную формулу. Каждый знак номера отсылает к целым пластам информации о данном индивидууме, его анамнезе, поведении, окружении, его образе мыслей. Изобретение паспортного кода является гениальной находкой. Вновь напрашивается сравнение с генетическим кодом. Как уже говорилось, самым трудным в проблеме кода было понять, что код существует.*

*Упомянем о существовании параллельных трактовок. Их взаимное согласование — общая теория кода — есть задача будущего. В качестве примера можно указать на астрологическую интерпретацию: буквы и цифры паспортного номера соответствуют планетам, домам и другим элементам астрального статуса в день выдачи паспорта владельцу либо в момент его рождения.*

*До сих пор говорилось об описательной дешифровке. Другое, в настоящее время наиболее перспективное направление паспортной науки можно назвать динамической дешифровкой, или паспортной алгеброй. Дело в том, что паспортные номера представляют собой не только код (шифрованную информацию о гражданах), но и род математического исчисления. Операции над знаками этого исчисления позволяют описать весь жизненный путь человека, то есть не только разоблачить его прошлое, но и прогнозировать будущее вплоть до естественного конца. Паспорт сопоставим с талмудической Книгой жизни, о которой мудрец Акива сказал: «Книга раскрыта, рука пишет, и заимодавцы взимают с человека положенное — знает он это или не знает». Выражаясь лапидарно, паспорт — это Судьба.*

## VII

*Дорога к храму. — Воскресение Лазаря. — Сущность любви. — Честь, оказанная мне членами Общества старины.*

В один из тех дней я решил осмотреть главную достопримечательность города — по моим расчетам, она должна была находиться совсем близко. — но, углубившись в улочки правого берега, заблудился. Встречные давали мне маловразумительные указания, иные с недоумением глядели на меня или молча махали рукой в неопределенном направлении. Конца не было полуразрушенным палисадникам, домишкам, где, казалось, никто не жил, огородам, где ничего не росло.

Некий старичок благообразного вида обрадовался возможности поговорить.

«Как же, как же!» — пропел он, кивая.

Я просил его объяснить, как пройти по возможности кратчайшим путем или, может быть, проехать. Он улыбнулся.

«Нет, сынок, туда не доедешь».

«А пешком?»

«И пешком не дойдешь. Нет его давно, милый! Снесли».

«Как это — снесли, — сказал я, — когда я сам его видел?»

«Где ж это вы видели?»

«С того берега, с набережной». — И я пояснил, что монастырь должен находиться на речном мысе.

«А, да это всё одна видимость. Фата-моргана!»

«Я вас не понимаю».

«Так ведь и наука, — сказал он, — до сих пор не объяснила, отчего бывает обман зрения».

«Странно... Куда же он всё-таки делся?»

«Монастырь-то? А никуда не делся; взорвали. Подложили динамит и... Помню, как-то ночью, — продолжал он, — просыпаюсь от грома: что такое, неужто война началась? Мне моя супруга отвечает: «Спи спокойно. Это очаг суеверия взрывают».

Я двинулся было дальше, старик смотрел мне вслед, я вернулся.

«Послушайте, — сказал я, — мы говорим о разных вещах. Монастырь, который я хочу осмотреть, — памятник общенационального значения, его основали еще греческие монахи. Он был построен на том самом месте, где по преданию князь Якун...»

«Верно, всё верно. А вы кто такой будете?»

«Не имеет значения: приезжий... Так вот. Отсюда пошло и название города. В то время здесь были густые леса. Только узенькая тропинка вела к обители. Потом стали селиться рыбаки, за ними земледельцы. Монастырь был окружен деревянным тыном. Ему принадлежали рыбные ловли, соляные варницы. А когда его опоясали каменными стенами, была построена особая водяная башня, где стоял котел на сто ведер. Во время осады в нем варили смолу и обливали ею захватчиков».

«Ах ты, батюшки».

«Это было во время первого набега татар. А во время второго набега...»

«Вот, а я что говорю? Я и говорю: разрушили. Подложили динамит и...»

«Вы полагаете, что в то время существовал динамит?» — сказал я, усмехаясь.

Мы добрались до конца пыльной улочки; впереди показались остатки леса или парка. Молодая поросль еще не успела вытеснить жухлую прошлогоднюю траву вокруг ржавых решеток и холмиков, почти сровнявшихся с землей, — это было заброшенное кладбище. Собор уже стоял над нами в голубом небе. Было очевидно, что старичок по каким-то причинам пытался отговорить меня от паломничества, и всё же

он был не совсем неправ: нам понадобилось немало времени, чтобы достигнуть цели. Сквозь колючий кустарник мы спустились к оврагу, проваливаясь в снег, добрались до ветхих мостков, вскарабкались наверх и по узкой тропинке вдоль стен, огибая башни и едва не срываясь в овраг, дотащились до ворот. От ворот, правда, остались одни столбы.

«Гостя к тебе привел», — сказал он, представляя меня человеку, который шел нам навстречу. Человеку, обладавшему сверхъестественным свойством появляться там, куда влекли меня случай, судьба или предназначение.

«Добро пожаловать, — весело сказал Фотиев. Мы обнялись. — Ладила баба в Ладогу, а попала в Тихвин! Я почему-то был уверен, что увижу вас здесь».

Мы обходили обломки упавших каменных крестов, прыгали по вросшим в землю, похожим на пемзу надгробным плитам. Вокруг раскачивался бурьян.

«Вы не обижайтесь, — говорил он, между тем как старичок, которого звали Иваном Игнатьевичем, следовал за нами на некотором расстоянии. — Все тут у нас сумасшедшие, знаете ли... Впрочем, он не зря морочил вам голову. Наряду с людьми, которые серьезно интересуются стариной, шляется всякое отребье. Эти ханыги одно время устроили у нас ночлежку, насилиу Бог избавил. Кстати, динамит или порох — не просто плод фантазии или, скажем так, прихоть народной хронологии. Есть известия, что он применялся уже в четырнадцатом веке».

Я сказал, что давно собирался посетить монастырь, о котором кое-что слышал, хоть и не был уверен, что он находится именно в этом городе.

«В нашем городе, — сказал Кузьма Кузьмич, делая ударение на слове «наш». — Вы ведь к нам насовсем, не так ли?»

«Угу».

«Тут иногда устраиваются экскурсии. Есть даже энтузиасты, члены Клуба охраны памятников старины, я сам его член... Мы добиваемся отмены решения снести монастырь».

«Неужели?» — вскричал я.

«Что неужели?»

«Так значит, его в самом деле хотят?..»

«Как вам сказать. Было решение снести. Только это, знаете ли, еще вилами на воде писано. Начальство сменилось, вопрос отложен для доработки... Но мне не нравится это слово. Какой такой Клуб? Мы намерены ходатайствовать о переименовании Клуба в научное общество. Кроме того, мы вошли в горсовет с инициативой организовать здесь музей истории города. Только ведь сами знаете: пробить стену бюрократического равнодушия трудней, чем пробить вот эту каменную стену!»

Я представил себе воинов в лисьих шапках, визжащую орду, лезущую из оврага с луками, со смоляными факелами. Века смешали память многих нашествий, и то, с чем не справились кривая сабля и таран, перетерли беззубые десны времени. Миновав наружный двор, мы вошли в проход, точнее, пролом между остатками второй стены; руины, поросшие кустарником, с островками, еще не растаявшего почернелого снега, всё, что осталось от братских келий. Несколько поодаль находилась сравнительно хорошо сохранившаяся трапезная. Внутренний двор являл собой свалку столетий. Посередине стоял черный остов сгоревшего автобуса без стекол и колес. На шестах была натянута веревка, висело бельё. И над всем этим нависла, заслоняя небо, темная громада собора.

Как бывает, когда стоишь у подножья очень большого здания, — он казался ниже, чем был на самом деле. Чудовищная храмина почти архаической архитектуры: подклет из посереженного белого камня и казавшийся укороченным, уходящий в небо шатер. Где-то там его венчала крошечная продырявленная луковица. Солнце блистало в

проеме неба между шатром и звонницей; рядом с собором колокольня выглядела, как поводырь подле слепца.

«А он мне тут, пока шли, — прошелестел сзади нас старичок Иван Игнатьевич, — всю, что ни на есть, историю рассказал».

«Ученый человек, — отвечал, не сводя глаз с собора, Фотиев. — Чего ж ты хочешь?»

Он оказался много ловчее меня и помог мне взобраться по развалинам каменной лестницы на паперть. Иван Игнатьевич остался внизу, мы с Фотиевым вступили в сумрачный полукруглый зев. Внутри было холодно, пусто, там и сям под ногами блестели лужи. Циклопические прямоугольные столпы поддерживали нижний ярус, выше можно было различить перекрытия следующего яруса. Дальше всё терялось в мглистой высоте. В углу находился круглый и полый столб с лестницей, ведущей на хоры, на его облезлой поверхности среди черных подтеков угадывалась единственная сохранившаяся роспись: выходящий из склепа Лазарь.

Послышался плеск воды, шлепанье лап и цоканье когтей по каменному полу — к нам бежало, махая хвостом, косматое вислозадое существо неопределенной породы и, если можно так выразиться, национальности.

«Знакомьтесь», — пробормотал хозяин. Мы выбрались из огромной пустой гробницы собора сквозь пролом на месте алтаря и задней стены. Здесь была галерея, некогда окружавшая храм. «Побудьте тут, походите, я сейчас...» — сказал Фотиев и как будто провалился сквозь землю: вместе с ним ретировался и пес. Если мне не изменяет память, в этот день должно было состояться пленарное заседание Клуба. Я устал, но не мог отклонить любезное предложение Кузьмы Кузьмича почтить, как он выразился, своим присутствием собрание, тем более что у меня возникла одна мысль.

Насколько мне известно, не сохранилось никаких фотографий архитектурного комплекса в городе N. Отсутствуют и сколько-нибудь подробные описания. В сущности, мне следовало бы ради удобства рассказа присовокупить к моим записям что-нибудь вроде плана, не говоря уже о том, что любая подробность, связанная с памятью о Кузьме Кузьмиче, с местами, где прошла его жизнь, драгоценна. Должен, однако, заметить, что топография монастыря была не просто запутанной, что объяснялось и многократными перестройками, и столь же частыми разрушениями. Она казалась мне непостижимой, в известном смысле ею и была: и вообще я давно уже не понимал, где я нахожусь. Быть может, только одно существо располагало исчерпывающим знанием всей планировки — немолодой желтоглазый и вислозадый пес, о котором здесь уже было сказано несколько слов. Вслед за ним и Фотиевым мы проникли в какое-то подобие каменоломни позади собора. Пес взбежал по узкой лестнице. Хозяин вытащил связку ключей. Низкая дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» была заперта на три замка, внутренний и два висячих. Фотиев объяснил, что кругом шляется всякое отребье. Темный тамбур, за ним еще одна дверь, и мы очутились в довольно просторной комнате. Я увидел стол с графином и председательским колокольчиком, несколько табуреток, в углу помещалась железная кровать. Над ней висела черная отсвечивающая икона. Стены и сводчатый потолок покрыты известкой, кое-где облупившейся. Пятна сырости. Железная печурка с трубой, выходящей в окошко-амбразуру в углублении стены. Стопки книг на полу. Полукруглый вход в соседнюю комнатку, очевидно, каморку келейника, занавеска. Всё это и сейчас стоит у меня перед глазами.

Комната, судя по всему, служила некогда обиталищем схимнику высокого ранга. От этого времени остался и черный, окованный железом сундук, на котором, как сфинкс на пьедестале, разлегся вислозадый пес (Фотиев величал его коадьютором). Некоторое время ушло на организационные вопросы. Председательствующий сооб-



шил важную новость: представителей Общества, сказал он, будут слушать в отделе культуры горсовета, для чего необходимо подготовить документацию, диаграммы, показывающие рост числа проведенных мероприятий, и прочее. Тут же было сделано несколько дельных предложений как по порядку ведения заседания, так и по вопросу подготовки к отчету, и единогласно постановлено, что докладчиком в горсовете будет Кузьма Кузьмич.

Мы... но мне, очевидно, следует сказать, что, кроме меня, Фотиева (он и был, как следовало ожидать, председателем), брата Амвросия и милейшего Ивана Игнатьевича, на собрании присутствовали еще два или три лица, о которых я решительно ничего не могу сообщить; неизвестно, были ли они членами Общества или составляли публику. Безмолвные и невзрачные, они разместились на табуретках позади нас, кутаясь в свои сюртучки, а может быть, кофты. С того дня я их больше не видел. Неслышно поднялись они один за другим и исчезли, когда были окончены прения по докладу, не издав за всё время заседания ни звука; лишь однажды, когда Кузьма Кузьмич процитировал Достоевского, один из них, вздохнув, произнес: «Верно, ух как верно, батюшка!» — из чего по крайней мере можно было заключить, что он был интеллигентным человеком.

Следующим пунктом повестки дня были выборы новых членов. Единогласно новым членом был избран я. Одновременно я был кооптирован в президиум. Это была незаслуженная честь. Я не знал в точности, каковы обязанности члена Общества охраны старины, но было ясно, что принадлежность к организации, представителей которой слушают в горсовете, а в дальнейшем, как знать (об этом тоже шла речь), будут слушать и в горкоме партии, давала мне определенный общественный статус. Неизвестно еще, как получится в трамвайном парке, думал я, а тут по крайней мере... Я встал и растроганным голосом поблагодарил присутствующих, добавив, что приложу все старания, чтобы оправдать оказанное мне доверие, и буду хранить в чистоте высокое звание члена Общества, высоко нести знамя охраны нашей национальной старины, как учил нас...

Тут я почувствовал, что несколько зарাপортовался. Фотиев, улыбаясь, захлопал в ладоши, избавив меня от необходимости закончить речь. Другие тоже зааплодировали, а коадьютор стучал хвостом.

«Ну-с. Что там у нас дальше?»

Дальше был доклад, предназначенный для сборника научных трудов Общества. За столом, рядом с председателем занял место молодой монах; как я уже сказал, его звали Амвросий. Черное одеяние делает стариков старше, а молодых еще моложе. Этому Амвросию было, вероятно, не больше двадцати лет, можно было дать и меньше. Можно было подумать, что бритва еще не касалась его щек. Что касается доклада, то мне трудно представить себе, как могло бы отнестись начальство к этой теме. Фреска с выходящим из грота Лазарем была, собственно, лишь отправной точкой для докладчика, основным же предметом брат Амвросий избрал изображение христианской любви в древнерусской живописи, точнее, любовь как её понимали иконописцы и православные мыслители. Однако рассуждения брата Амвросия вполне укладывались в рамки тематики и практической деятельности Общества; он сумел даже ввернуть несколько цитат из «Диалектики природы» Энгельса, что служило своего рода охранной грамотой. И я подумал, что начальству должно было нравиться, что во вверенном ему городе ведутся научные и патриотические изыскания; ближайшее будущее подтвердило мою оценку.

Кроме Энгельса, референт ссылался еще на одного автора, и автором этим, как нетрудно догадаться, был наш дорогой наставник. В докладе употреблялись такие выражения, как «по данным исследований К. К. Фотиева», «работами К. К. Фотиева установлено...». Докладчик сообщал, что «нами произведено диахроническое сопос-

тавление по методу Фотиева». Заинтригованный, я слушал, стараясь не пропустить ни слова. Любовь древнерусские мыслители и следом за ними брат Амвросий понимали как борьбу противоположностей (здесь и пригодился Энгельс). Она представляла собой столкновение эроса и агапэ, то есть плотского вожделения и той любви, которую заповедал мифический — этот эпитет был вызван очевидной необходимостью — Иисус Христос. То есть в конечном счете борьбу Бога с дьяволом. При упоминании о враге рода человеческого коадьютор спрыгнул с сундука, потянулся и хищно зевнул, что у животных, как известно, служит знаком повышенного внимания. Тем не менее председатель счел нужным призвать пса к порядку. Чтение продолжалось. Бледные щеки брата Амвросия порозовели. Глядя вперед большими пустыми глазами, он нарисовал широкую метафизическую картину единоборства двух начал, двух видов энергии, эфирной и половой, двух стихий — света и тьмы; в этой борьбе, предваряя грядущую и окончательную победу высшего начала, поочередно одерживают верх власть сердца и темный бунт плоти.

Последние слова потонули в овациях. Начались прения, точнее, слово взял Кузьма Кузьмич Фотиев. Мне запомнилось лицо юного монаха во время выступления учителя; Амвросий смотрел в окошко, где по голубому небу проплывали его мысли. Несомненно, доклад был предварительно просмотрен Фотиевым. Сам Кузьма Кузьмич держал в руках несколько исписанных листков. Зацепив за большие уши оглобелки железных очков, он поднес к глазам бумагу и прочел:

«Всякий великий народ, если он великий...»

Откровенно говоря, я не совсем понимал (в то время), какое отношение к докладу имела эта цитата. Правда, я не уверен, точно ли он передал слова, произносимые героем знаменитой книги в лихорадке, ночью, в доме, похожем на дом тёти Лели, и в городе, сходство которого с городом, куда я попал, не должно удивлять. Добавлю, что тут было некоторое противоречие с кардинальной идеей Фотиева. Ведь она основывалась не на вере, а на знании; научные основания его теории подобно всякому объективному знанию обладали свойством принудительности. Отсюда, мне кажется, и задача, выдвинутая Фотиевым, выглядела как некая повинность, как приказ. Но опять-таки я тогда еще не был в курсе дела, так что незачем забегать вперед.

«Всякий великий народ, — сказал Фотиев, снимая очки и откладывая бумажку, ибо он знал эти слова наизусть, — верит и должен верить, что в нем одном заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы приобщить все народы воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной. Вот так, — закончил он. — Таким макаром».

«Верно, батюшка. Ух как верно!» — промолвил кто-то из заднего ряда. Желавших выступить больше не оказалось, и председатель объявил заседание закрытым.

После того, как все разошлись, я задержался на некоторое время в келье моего друга Фотиева. Мне хотелось узнать подробней, в чем состоят обязанности члена Общества. Вошел Амвросий, держа под мышкой таз с высохшим бельем. Он поднял крышку сундука и стал складывать белье. Кузьма Кузьмич смотрел на меня с улыбкой.

«Обязанности? Присутствовать на собраниях, слушать доклады — вот и всё. Может, сами что-нибудь захотите доложить».

«У меня к вам просьба, — сказал я, дождавшись, когда молодой монах выйдет. — Вы сказали, что о Клубе знают в горьком партии. Так вот, нельзя ли... я даже не знаю, как сформулировать».

«Формулируйте, не бойтесь».

«Не могли бы вы как-нибудь за меня замолвить словечко?»

«Не понял», — сказал Кузьма Кузьмич.

«Видите ли, — я прочистил голос, — у меня имеются некоторые сложности с документами».

«У кого их нет! Но ведь вы, как я слышал, уже прописаны».

«Пока еще нет, то есть меня обещали прописать. Но мало ли что...»

«Как член Общества охраны старины вы являетесь полноправным гражданином нашего древнего города. Мы же со своей стороны можем войти с ходатайством».

«А что это за работы, о которых упоминалось в докладе?» — спросил я, выражая свою благодарность Кузьмичу тем, что проявляю интерес к его научным исследованиям.

«Могу ответить; откровенно говоря, я ждал этого вопроса. Видите ли, в чем дело: у меня есть несколько важных, э-э... мыслей, над которыми я работаю уже много лет. В сущности говоря, дело всей моей жизни... Фрося! — позвал он. — Вообще-то его зовут Амвросий, красивое имя, не правда ли? Означает буквально «пахнущий амброй».

Ученик заглянул в комнату.

«Приготовь-ка нам что положено».

Открылась дверь, в келью снова вошел брат Амвросий, неся что положено... Или нет: вошла. Ибо случилась неожиданная метаморфоза. Брат Амвросий был теперь без рясы, без скуфьи, весь в белом, а вернее, вся в белом, так как брат Амвросий оказался девушкой.

«Ладно, мы не смотрим, — сказал Кузьма Кузьмич. — Стесняется», — пояснил он.

Я не знал, что ответить, и сделал вид, что осматриваю келью.

«Ну он, ну она, — пробормотал Фотиев, — какая разница?»

## VIII

*Заметки о погоде. — Поездка по живописным окрестностям. — Рапорт дозорного и сомнения князя. — Вечернее чаепитие. — Мысли на сон грядущий.*

Мне было предложено зайти на следующей неделе, когда вернется из отпуска директор, — администрация не возражала против принятия меня на работу, но и не могла без его резолюции окончательно решить вопрос, — и, выйдя из конторы трампарка, мы с Алевтиной направились к воротам депо, чтобы сесть в поезд, выходящий на линию. Был конец дневной смены, сырой, прохладный, темноватый день, сиреневые небеса над городом густели и разгорались темным огнем; металлический отблеск упал на лица людей, на стекла пустых составов, которые медленно двигались нам навстречу с зажженными фонарями; кондукторши спрыгивали со ступенек; кто-то подошел к площадке нашего вагона и позвал Алевтину. Ветер нес предчувствие непогоды. Охваченный тревогой, я сидел в полутемном вагоне. У колес стояли двое, к ним присоединилась моя подруга, донеслись обрывки разговора, смех и сплевывание; мужики поглядывали на небо, затем один из них затер башмаком окурочек, и оба двинулись к конторе. Она крикнула им что-то вслед, один обернулся. Вспыхнули ртутные лампы на столбах. Я наблюдал за происходящим, которому мертвенно-яркое освещение придавало тайный зловещий смысл. Алевтина небрежно махнула мне — это был знак подождать — и побежала вслед за ними. Я убеждал себя, что мне некуда спешить, не надо ничего делать, впереди целая неделя пустых, спокойных и свободных дней, у меня есть жилье и будет прописка. Сейчас она вернется, говорил я себе, мы успеем доехать до Александра Невского, пока не начался дождь, и разойдемся, она к себе, я к хозяйке.

Я испытал судорогу одиночества. Тот, кому она не знакома, едва ли это поймет. Я сидел в пустом вагоне трамвая, уговаривал себя, что свет не сошелся клином на этом парке, что скорей всего меня или нас обоих водят за нос, что ж, найду себе другое место, подумаешь — горе, а если и не найду, какая разница? Я всё понимал и прекрасно отдавал себе отчет в свойствах моей несчастной, отравленной вечной подозрительностью натуры. И всё же за этим что-то стояло, и я не мог не поддаваться соблазну строить умозаключения, не мог забыть о том, что жизнь в конечном счете всегда оказывается хуже наших ожиданий. Обстоятельства были сильнее меня, и люди вокруг меня были, по-видимому, солидарны в своем желании подставить мне подножку. Меня охватило чувство злокачественного народа; тот, кому оно знакомо, поймет меня. Мне стал понятен смысл разговора, стало ясно, зачем явились эти двое. Первые капли, словно капли свинца, упали на песок, на рельсовые пути. Отрывочные реплики сложились в заговор. В этом городишке известия распространялись неизвестными мне путями, мгновенно, как электрические импульсы; люди подмигивали и кивали друг другу, обменивались незначащими словами, лапидарным матом, и многозначительно сплевывали, и сладострастно растирали ногой окурок, и всё это делалось с умыслом, всё становилось известно, все знали всё друг о друге. Я был почти уверен, что, вернувшись домой, услышу от хозяйки, что она передумала. Борис Борисович вернул ей мой непрописанный паспорт, и это было еще самое лучшее, что он мог сделать. В эту минуту появилась Алевтина.

Сквозь редкие струйки дождя, ползущие по стеклу вагона, я видел, как она взялась за поручни, через мгновение поехала дверь. Алевтина заглянула внутрь. Я упрямо смотрел на неё и не мог сообразить, о чем она говорит.

«Ну его к Богу в рай, он там никак не разберется...»

«Кто?» — спросил я.

«Да ну его...»

Оказалось, что, пока мы тут дожидались кого-то, несколько составов уже вышло на линию.

«Эй, Петухова!» — крикнул кто-то. Она с досадой отмахнулась.

«То да се, — сказала она. — То вдруг закусывать сел. Дружки явились. Я говорю: «Сколько тебя ждать?» «А нам спешить некуда!» «Тебе некуда, — я говорю, — а меня человек ждет». — До меня наконец дошло, что она говорит о вагоновожатом. — В общем, поехали», — сказала Алевтина, провела гребнем по мокрым волосам и уселась на тумбу вожатого.

«Как это?» — спросил я.

«А вот так. Наука будет. Придет — а нас уже ищи-свищи». — Она засмеялась.

Дуга толкнулась о провод, вспыхнул свет в двух пустых салонах, под ногами у Алевтины заурчал мотор. Внезапно молния осветила грифельное небо, и грянул гром. «Дворник», махая из стороны в сторону, не успевал стирать со стекла потоки воды. Она ударила ступней о педаль сигнала, вагон выворачивал из ворот.

«Петухова!» — слабо заорал голос позади нас.

То был старый трамвай, поезд тридцатых годов, какие ходили по улицам моего детства, гремучий, мотающийся и продуваемый ветром, с ручкой скорости, которую вожатый крутил к себе, с открытыми площадками, с искрами, сыпавшимися из-под овальной дуги, с пением и скрежетом колес на поворотах. Но еще ни разу в жизни мне не приходилось стоять рядом с водителем, держась за никелированную штангу, ни разу в жизни я не ездил в качестве сотрудника, хотя еще и не принятого на службу, но уже своего человека. Трамвай, качаясь и разбрызгивая воду, шел к кольцу, где ждали под дождем первые пассажиры. Глядя прямо перед собой неподвижными, мертвенно-блестящими глазами, Алевтина била ногой в педаль, трамвай со звоном пронес-

ся мимо остановки, машущие руками люди остались позади. Таким же аллюром мы проскочили следующую остановку.

«Сзади, — проговорила она, вперяясь в мутную даль, — Да не там... Сзади меня, под сиденьем. Поставь в окошко...»

Я прикрепил справа перед ветровым стеклом фанерку с надписью «В парк». Вагон летел вперед.

Она сказала: «Обними меня».

Навстречу нам шел с зажженными огнями товарняк — и прогремел мимо; едва разминувшись, мы оказались перед развилкой, трамвай круто свернул с визгом и пением, рассыпая снопы искр, ослепительно лиловых, зеленых, оранжевых, мотор рокотал, Алевтина вела пустой состав одной ей известным путем. «Дворник» равномерно, неутомимо скользил по стеклу, дождь лил, не усиливаясь и не переставая, больше не было пассажиров и остановок, возможно, это была хозяйственная ветка. В полутьме с обеих сторон уносился назад кустарник, проплывали заброшенные склады, пустыри, штабеля полусгнившей древесины, затем мы углубились в лес, кто-то стоял на путях. Алевтина отчаянно зазвонила. Поезд промчался мимо неподвижной серой фигуры, человек был в брезентовом армяке и капюшоне. Немного погодя мы обогнали лесной отряд. Лошадиные копыта разбрызгивали лужи, всадники с копьями качались в седлах.

Вдруг показалась мачта с табличкой. Алевтина отвела ручку от себя. Трамвай остановился, и одинокий пассажир, стряхивая воду с картуза, прошел мимо нас в салон. Алевтина повернула ко мне блестящие глаза.

«Испугался?.. Да куды мы денемся».

В самом деле, мы очутились в городе, и я узнал маршрут, по которому ехал в день моего прибытия; вскоре показался и мост. Клубы серых облаков ползли над рекой, дождь прекратился. Вместе с тем было впечатление, что мы подъехали к мосту с другой стороны. Алевтина затормозила, на площадку вскочил мужик, один из тех, что разговаривал с ней в трамвайном парке.

«Что ж ты, етить твою! Куды тебя понесло?»

«А вот будет тебе наука, — отвечала Алевтина. — Скажи еще спасибо, что остановилась».

«Ох, Петухова, доиграешься. А карта где?»

«Я почем знаю».

«Путевая карта, едрить твою!..»

«Не моё дело», — сказала Алевтина, после чего мы спрыгнули со ступенек вагона; улица Александра Невского была за углом.

Победа князя была предрешена с того момента, когда он узнал о том, что победа предрешена, другими словами, когда он исполнился решимости победить во что бы то ни стало: чудесное знамение должно было придать этому решению высшую и неопровержимую объективность. Тучи разошлись, и день, клонившийся к закату, стал светлей и прозрачней. Дозорный, один из тех, кто заметил ладью под серебряным парусом, стоял на своем; в конце концов его привели к князю. Александр, выслушав его, сказал: «А ты не брешь? Побожись». Дозорный осенил себя двуперстием. «Сам видел, — спросил Александр, — своими глазами? Ты, может, выпил?»

Дозорный отвечал, что не брал в рот ни капли; вот так же, как теперь видит князя, видел святых братьев в коротких, темных, как запекшаяся кровь, плащах и гребцов, одетых тьмой. «Так близко видел?» — перебил его Александр. По словам дозорного, сажень в ста от берега. «Пошел, — сказал князь. — И никому ни слова».

Спрашивается, почему он велел гонцу помалкивать? Почему сам не вышел к дружине, чтобы возвестить о знамении, зачем не огласил окрыляющую весть? Затем, что весть эта могла ослабить волю бойцов, вместо того чтобы её укрепить. Каждый

мог сказать себе: коли всё решено, для чего рисковать жизнью? Это один ответ. Другой ответ — что князь и после допроса не был уверен в случившемся, ибо создатель вовсе не щедр на чудеса. Полководец мог поверить искренности дозорного, как верят в искренность больного, описывающего галлюцинацию. Третий ответ состоит в том, что князь увидел в явлении братьев истинную волю небес. Именно поэтому нельзя было показывать, что он доверился счастливому предзнаменованию. Напротив, он должен был вести себя так, словно никаких обещаний не было. Ибо истинно верующий не верит. Провидение не любит, когда его намек слишком поспешно толкуют как обязательство; поступай так, словно знаешь, что небесной воли нет или что она постановила не вмешиваться. «Управляйтесь сами, — сказал Господь, — а Меня нет».

Она пробормотала: «Может, зайдешь? Чайку попьем». Итак, мы должны были делать вид, что не видим, как судьба взмахнула рукавом. Вести себя так, словно ничего не случилось. Но разве решение уже не было принято, разве мы не были тем, чем должны были стать, чем уже стали в глазах соседей, тети Лели, да и в нашем собственном представлении? Мораль предместья не осуждала супружескую неверность, но требовала замены брака, в конце концов на этом настаивал и муж Алевтины. В темной глубине моего мозга еле слышно запел рожок вожделения, словно мелькнул вдали серебряный парус, и ноги понесли меня к дому Алевтины.

«Чайку попьем», — сказала она. С детства я любил темные лестницы, они давали мне ощущение, похожее на ощущение зверя, когда он забирается в берлогу, и мне стало тепло и уютно, едва только мы вошли в подъезд и поднялись по скрипучим ступеням. Она отворила дверь ключом.

«Идите поиграйте...»

Девочки были изгнаны на улицу и больше не появлялись. Алевтина заварила напиток, молча подавала и смотрела, как я пью.

«Что это за сорт такой?» — спросил я.

«Нравится?»

Я выпил чашку, она налила мне еще, медленно прихлебывала из своей. Чай странно действовал на меня, всё замедлилось. Медленно хрустели баранки в её сильной руке; она подносила блюдце ко рту, вытягивала губы и дула, медленно поднимала на меня потемневший взгляд. Я уже не удивлялся тому, что дети не вернулись домой, что наступил поздний вечер.

«Куды ж ты теперь, кругом балуют».

«Пойду, — сказал я. — перед тетей Лелей неловко. Она, наверное, уже легла».

«Тем более, разбудишь».

Поднявшись было, я упал на стул. Сидя над пустой чашкой, я слышал, как Алевтина ходит между кроватью и шкафом. Из сундука явилось большое стеганое одеяло, она несла его к кровати, как взрослого больного ребенка. Затем, как в замедленном фильме, она вышла из комнаты. Вышел и я. Когда я вернулся, Алевтина лежала под одеялом и оглядывала широкую кровать, как прилежный работник проверяет чисто прибранное рабочее место. Убедившись, что всё на месте, она опустила глаза на грудь, прикрытую кружевной рубашкой, приподняла край одеяла и оглядела всю себя. Одеяло опустилось, как пелена снега. Я присел на край кровати. Она смотрела перед собой, поджав губы, перевела взгляд на меня.

«Что, так и будем сидеть?» — сказала она спокойно.

«Ты меня чем-то опоила», — сказал я смеясь.

«Чай как чай», — возразила она.

Я покачал головой.

Она сказала мягко:

«Уже поздно. Ложись. — Прижав к груди подбородок, она провела пальцами по кружевам. — Нравится тебе?.. В универмаге вчерась купила. Нет, пожалуй, — проговорила она, — лучше снять. А то сомну. — Она села и с большой осторожностью сняла с себя рубашку. — На, повесь».

Я повесил рубашку на спинку кровати.

«Туши свет».

Мы молчали.

«Чего ты? Ну, тогда я сама встану и потушу».

Я поплелся к выключателю, ощупью вернулся и сел. Понемногу стали видны никелированные пишечки кровати, лицо Алевтины белело в сумраке, мертвые губы были сжаты. Из двух окон, между черными растениями, в комнату сочился свинцовый сумрак, серебристый свет.

Шорох, угрюмые вздохи вещей.

«Может, я пойду?..»

«Иди», — был ответ.

«Аля», — сказал я.

«Чего Аля? — сказала она насмешливо. — Завлек девушку, а сам! Иди, чего сидеть-то...»

«Всё как-то смешно получается. Как-то неожиданно...»

«Вот те раз».

«Не могу», — сказал я.

«Ну, не можешь, и не можешь. Что я, силком, что ль, тебя затаскивала?»

Я нагнулся и стал в темноте расшнуровывать ботинки. Некоторое время спустя она осведомилась, в чем дело.

«Узел...» — пробормотал я.

Она села на кровати.

«Давай ногу».

«Грязный ботинок. Аля...»

«Давай ногу, говорю».

Я положил ногу на одеяло, она пыталась развязать шнурок зубами. Взятась двумя руками и разорвала шнурок. Ботинок упал на пол; она стянула носок.

«Другую ногу давай».

Я стоял перед кроватью, освободившись от одежды, моё разоблачение продолжалось страшно долго, но волнения, как ни странно, я не испытывал, разве только стыд и неловкость за то, что не сумел проявить подобающий пыл. Не было у меня и отвращения к этой женщине, о, нет, мне было хорошо с ней, я, можно сказать, даже любил её. Я любил её, потому что был ей благодарен. Мягкий голос Алевтины, спокойная деловитость, с которой она готовилась к брачной ночи, её грудь, белевшая в темноте, внесли покой в мою душу. Или это был чай? Предательский любовный напиток, вместо того чтобы возбудить во мне страсть, парализовал меня. Я ощутил сладость безволия, мужское бремя инициативы свалилось с меня, я больше не отвечал за собственное тело. Я понимал, какой ценой куплена эта безответственность: ценой порабощения. Ну и что? Жизнь укатала меня настолько, что временами я мечтал о самоубийстве.

Смешно сказать, но и очутившись в постели рядом с Алевтиной, я продолжал с каким-то упоением думать о самоубийстве. Разве оно не было лучшим способом освободиться от ответа на любые вопросы, избавиться от решений, уйти, ускользнуть? Я вспомнил странную мечту моей юности: одеться невидимой броней и оставить с носом всех, кто был сильнее меня. Вот так же выглядело в моих фантазиях самоистребление: как будто я нахлобучил шапку-невидимку; меня больше не было, я был неуязвим. И в то же время я оставался в этой жизни, может быть, оттого, что не мог

вообразить абсолютное небытие. Жизнь с Алевтиной, комната с цветами на окнах, никелированная кровать, независимость под видом покорности, свобода внутри рабства, — не была ли она этой самой жизнью под шапкой-невидимкой? Сейчас, думал я, соберемся с силами, и я исчезну. Вперив глаза в прозрачную тьму, мы покоились в кровати-саркофаге, словно царственные супруги.

«Спишь?» — спросила она, зная, что я не сплю.

«А ты?»

«Я тоже... Обойдемся», — сказала она.

«Ты на меня рассердилась?»

«Я думала, наоборот: ты на меня сердит».

«За что?»

«Да за это самое. За то, что мы тогда с ним при тебе... А что мне было делать? Он бы всё равно не отвязался. Еще начал бы буянить... Забудь. Это всё ерунда. Он мне всё равно не муж».

«А я?»

Она усмехнулась.

«Не думай. Чем больше думаешь, тем хуже».

«Если хочешь, — сказал я, — попробуем».

«Чего пробовать. Давай спать».

Прошло сколько-то времени, её губы снова зашевелились.

«Я думала тебе угодить, рубашку купила. Но раз не хочется, то и не надо».

«Да?» — пробормотал я. Она обняла меня и сказала: «Другой раз. Родный ты мой. Главное, не думать».

«Ступайте поиграйте...» Я помню её голос, фразу, брошенную близнецам, тихим и послушным девочкам, которые всегда перешептывались, всегда сидели вдвоем на полу и если играли, то непременно в маленькие предметы: перышки, клочки бумаги, в какую-нибудь отломанную руку от целлулоидной куклы. Эту руку, завернутую в тряпицу, они понесли с собой, обе в одинаковых пальтишках, в стоптанных башмаках, меж тем как мать следила за ними в зеркале, распустив свои тонкие, казавшиеся негустыми волосы, со шпильками во рту. В коридоре девочки побежали, детский топот затих на лестнице. С вялой медлительностью она свернула волосы узлом, принялась заваривать чай, я спросил: «Что это за сорт?» И она сидела напротив меня и с хрустом давила сушки.

И еще: «Чем больше думаешь, тем хуже».

Я помню всё, что происходило в этот вечер, но всякий раз, когда я перебираю подробности, они выстраиваются по-новому. Я собрался идти на улицу Александра Невского. «Иди, — сказала она насмешливо. — Чего сидеть-то». Немного погодя она прошла по комнате с толстым стеганым одеялом, так несут одетого ребенка. Я вышел, отхожее место находилось в конце коридора. Во всем доме не слышно было ни звука. Я намеренно задержался, и когда вошел в комнату, Аля уже лежала, прикрытая до середины груди одеялом, в нарядной кружевной рубашке, сквозь которую просвечивала её кожа. Незаметно ступила ночь, девочек приютила соседка. Алевтина приподняла одеяло. Медленно и вдумчиво она оглядывала себя, свою грудь, плечи. Мне показалось, что чай странно действует на меня, и я сказал ей об этом. Она ответила: «Чай как чай».

Но рубашка была слишком дорогая и красивая; как царская мантия не предназначена для того, чтобы в ней заниматься делами, так и рубашка не предназначалась для того, чтобы в ней, ну да, чтобы в ней спали. Она села в постели, придерживая подбородком одеяло, протянула мне рубашку, я выключил свет, уселся рядом с кроватью и стал думать о самоубийстве. Это было что-то вроде эквивалента любви. Но одновре-



менно я помнил о том, что под одеялом на ней ничего нет. Я представил себе, какое это восхитительное чувство — прохладное прикосновение толстого одеяла к животу и соскам. Потом эта история со шнурками.

Мы лежим рядом. На стене чернеет серебристый провал зеркала, рядом темно отсвечивает стекло в рамке, смутно белеют лица, официальная история семьи. Муж-молодчага в фуражке и с чубчиком, молодая ясноглазая тётя Леля, голова к голове с покойным супругом, Аля с двумя младенцами в обеих руках. Мне не нужно вглядываться, я знаю эти фотографии наизусть. И когда я исчезну, то буду тоже красоваться в этой рамке, паспортной «фоткой» с уголком для печати в самом низу. Кто-нибудь будет разглядывать этот иконостас, спросит: «А это кто?»

Мне кажется, что она сердится на меня, и она в самом деле разочарована, обескуражена, подозревает, что сделала что-то не так, она простая баба, а я образованный; или что у меня что-нибудь не в порядке, ей хочется меня успокоить, ободрить, и она начинает говорить мне, чтобы я ни о чем не думал, не придавал значения. Чутьем она понимает, что вместе с одеждой спадают все преграды, всё становится условностью, мы наедине друг с другом, мы древняя пара прародителей. Казалось бы, всё упрощается до предела. Ничуть не бывало. Мы лежим в темноте. Мы ничего не называем, подавленные стыдливостью, другое имя которой — суеверный страх. Мы не можем называть вещи своими словами, потому что слова обладают магической властью, слова могут испортить всё окончательно, могут навсегда искалечить. Должно быть, она считает своей обязанностью внушить мне, что совокупление для неё не так уж важно. Не в этот раз, так в другой. Она просит меня погладить её, словно просит прощения, и сама кладет руку мне на живот, водит рукой по моей коже, по груди и животу; мне становится легче, я начинаю чувствовать себя несправедливо обиженным, гонимым, вся моя жизнь исковеркана, я нахожу в этой мысли сладость и утоление. Ночь разгорается, и я различаю все подробности, металлические украшения на спинке кровати, фотографии в рамке; окна пылают оловянным огнем. С улицы раздаётся свист, мы оба смотрим туда, где в молчаливой муке извивается кактус, и в это мгновение её рука, воспользовавшись тем, что мы смотрим в окно, сползает к моим ногам, мимоходом задев вялую взбудораженную плоть, затем снова поднимается к животу, скользит вниз, так повторяется несколько раз; Алевтина что-то шепчет, я поворачиваюсь к ней, я думаю, что «он» таки добился своего, издав маня к себе её руку, теперь он требует, чтобы она завладела им, опасная игра, она не поддается, бродит вокруг и не слышит трубного зова, ибо теперь он трубит во тьме, он сам как тромбон.

## IX

*Высокий уровень культуры в городе. — Долг по отношению к учителю. —  
Паломничество к местам, с которыми связано столько воспоминаний, —  
Скромный призыв к милосердию, — Полемика с ветераном, —  
Неприятность, постигшая автора на железнодорожной станции.*

Признаюсь, для меня было неожиданностью встретить в провинциальном захолустье столь интенсивную умственную жизнь. Я привык стесняться своих духовных интересов, даже скрывать их: как известно, они сильно осложняют жизнь. Не говоря уже об агрессивной народности начальства, которое, впрочем, вполне справедливо видит в человеке, умеющем писать без ошибок и изъясняться правильным языком, вражеский элемент, сам народ — я это твердо знал — без всякой подсказки свыше относится с подозрением к лицам этого сорта, смутно чувствуя в них угрозу своему образу жизни, подобную угрозе, которую таит в себе присутствие инородцев или

иностранцев, а народ, как известно, не ошибается. Тем неожиданней были для меня терпимость и внимание тёти Лели, проявленные буквально с первых минут нашего знакомства. Не менее приятным сюрпризом оказалось существование в нашем городе Общества ревнителей старины.

В свою очередь, я оказался близок членам Общества благодаря моей любви к истории. Погрузиться в историю значило спрятаться в ней — и не это ли свойство города останавливать время влекло меня, сознавал я это или нет, на дно воронки? Повторю то, что уже сказал: нечто засасывающее, нечто, если позволено будет так выразиться, влагалищное было в этом краю; распростёртый под одеялом небес, город не отличал любовника от насильника, не отпускал пришельца, обволакивал его и высасывал из него всю самость. Город N, существующий ныне лишь в моей памяти, подменил моё существо: «я», которое водит сейчас рукой, держащей перо, уже не то «я», что некогда озирало неизвестный перрон, рельсы и станционные здания; не то, которое трепетало в сознании своей государственной неполноценности, столь похожей подчас на мужскую неполноценность. То было зябкое, зыбкое, студенистое «я», жалкое, но живое, и город пожрал его. Новое «я», уже не человеческое, но авторское, больше не обретается в «реальной жизни», его заменил текст, так что вся прежняя моя жизнь, и та, что заставила меня искать убежища на дне страны, и та, что вынудила вновь бежать, оказалась не чем иным, как предварением этих записок.

Воротясь на другое утро домой — ибо всё же дом тёти Лели, а не кров моей любовницы оставался для меня домашним очагом, — я как-то мало и неохотно думал о том, что было у нас с Алевтиной. Если бы она тотчас пожелала развестись с мужем и зарегистрироваться со мной, я бы и тут не сопротивлялся; правда, такого намерения она пока что не выражала. Обо всех этих вещах, повторяю, я почти не думал, они были как бы даже и не моей заботой. Утро сияло, как в первый день творения. Едва завидев меня, тётя Леля ушла в огород, я усмотрел в этом новый знак молчаливого и тактичного согласия. Происшествия жизни, как времена года, сменяли друг друга сами собой, им не надо было противиться, их не следовало торопить. Я поднялся к себе, чтобы записать то, что услышано было мною из уст Фотиева.

Дело в том — пора сказать об этом со всей определенностью, на какую уполномочили меня память об учителе и наша дружба, — дело в том, что никаких «работ», на которые ссылался в своем докладе брат Амвросий, на самом деле не существовало; сам Кузьмич не раз подчеркивал свою неприязнь к печатному слову. Вопреки предположению, которое, может быть, возникло у читателя, Общество старины не носило никакого конспиративного характера, упаси Бог. Напротив. Общество признавалось полезным патриотическим начинанием. На особо торжественных заседаниях практиковался похвальный обычай избирать символический почетный президиум во главе с секретарем горкома. Вместе с тем, я думаю, каждому понятно, что не могло быть и речи о публикации трудов Фотиева; даже соваться с ними в какую-нибудь редакцию было бы рискованно.

И всё же не внешние препятствия были причиной тому, что Кузьма Кузьмич Фотиев, как Сократ, не оставил письменных трудов, а принципиальное отношение учителя к вопросу, которого я не могу не коснуться, восстанавливая свои тогдашние записи. Именно: вопросу о собственности и деторождении. Отказ от потомства находился в числе главных требований, предъявляемых Кузьмой Кузьмичом к человечеству. Духовное детище, каковым должен был стать его *opus magnum*, будь он написан и обнаружен, воплощало бы именно то, чему противился, от чего предостерегал наш учитель, в чем видел соблазн и грех. Духовное детище — трактат, статья, какие-нибудь наброски, *pensées*, всё что угодно — неизбежно превратилось бы в собственность, столь же непозволительную в его глазах, как и собственность материальная.

Мне представилось, что сама судьба указывает мне на моё призвание. Я понял, для чего я оказался в городе, и более того — я обрел цель жизни. Мысль эта была настолько важной, что отвлекла меня от других забот, от устройства на работу, от прописки, от моей подруги. Я должен был зафиксировать на бумаге то, что наставник не пожелал выпустить в свет в качестве основополагающего философского труда. Сохранить для потомков образ и учение Фотиева — вот моя жизненная задача, я должен был стать его евангелистом, его Плутархом, его Эккерманом. Конечно, трудно было не примешать к услышанному из его уст собственные домыслы или, вернее, собственные мои чувства. Увы! Даже эти наспех сделанные заметки утрачены. Мне предстоит проделать работу заново, лучше сказать, предстоит труд воскрешения, если позволено будет воспользоваться любимым словцом и фундаментальным понятием покойного К. К. Фотиева.

Кстати, о работе. Хотя вопрос был в принципе решен, поступление моё на работу в трампарк вновь задержалось, теперь уже, правда, по другой причине. Как мне объяснили в расчетном отделе, где я должен был занять место женщины, болевшей уже много месяцев, женщина эта прошла инвалидную комиссию, заключение направлено в отдел кадров, но в отделе кадров пока ничего не могли предпринять, так как заключение пока не поступило; мне было предложено зайти через две недели. Но это было даже к лучшему, так как всё еще не вполне был разрешен вопрос о прописке. Паспорт мой хотя и находился в милиции, откуда ожидался самый благоприятный ответ, но о том, чтобы я отправился за ним, не могло быть и речи, пойти самой тётя Леля тоже не решалась, не желая докучать Борису Борисовичу. К тому же начальник, как оказалось, находился в отпуску; по некоторым сведениям, он проводил его у родни в деревне. Идти же к заместителю, не дожидаясь возвращения «самого», было неудобно.

Куда спешить? Я чувствовал себя легко и спокойно в доме тётя Лели, спокойно и просто у Алевтины, обыкновенно уходившей на работу, когда я еще спал; напившись чаю, я отводил девочек в детский сад на продленный день, а затем брел пешком в город, через мост, под которым с величавой медлительностью влеклась одетая в сизую чешую река — куда она текла? Невозможно было понять, глядя на зыблющиеся, мерцающие, стальные и молочные воды. Я сидел на набережной перед оградой, на скамье, где некогда очнулся, разбуженный пенсионером, которому я сам, быть может, приснился. Почему бы и нет? Мне казалось, что я вижу сон о самом себе, о человеке, который был мною или мог бы стать мною. Как и в тот день, с набережной открывался широкий вид. Как зачарованный, погружившись в воспоминания о том, чего никогда не было, я созерцал противоположный берег, мыс, образованный притоком, и наш монастырь. Лишь боязнь показаться навязчивым мешала мне немедленно направиться к Кузьме Кузьмичу.

Я льстил себя надеждой, что моё общество для него небезразлично. Похоже, он был не прочь приобрести в моем лице не только ученика, но и равноправного собеседника. За свою жизнь я наслушался рассказов о том, что сбор подаяний будто бы чрезвычайно доходный промысел. Не касаясь вопроса о том, в какой мере это относилось к Фотиеву, — его отношение к собственности и наживе делало, впрочем, такое обсуждение излишним. — замечу, что, соединяя в образе нищего два противоположных представления, народная молва выражает амбивалентное отношение к этой профессии; с одной стороны, грех не подать убогому, а с другой — за ним подозревается неслыханное богатство. Как бы то ни было, пренебрегая ради наших бесед добыванием хлеба насущного. Кузьмич рисковал потерять выгодное место на вокзале.

Позволю себе короткое отступление. Должен сознаться: мысль о том, что и я мог бы стать нищим, что я рожден быть нищим и, кто знает, в одно прекрасное утро надену рубище и пойду по вагонам пригородных поездов, уже тогда не казалась мне абсурдной. Может быть, меня останавливала только высокая конкуренция. Предмет

занимал меня с разных сторон, так что я не мог не задуматься о некоторых особенностях этой специальности. Наставник говорил мне о своем проекте создать профессиональную школу в монастыре, предлагал мне даже занять должность доцента. «Что же я буду преподавать?» — спросил я. «Теорию, — отвечал Фотиев. — на первых порах вы могли бы прочесть курс общего нищенства, развить тезисы, которые вы только что изложили».

Я поделился с ним своими опасениями относительно потери вокзального места. Он ответил:

«Представление о том, будто на вокзалах хорошо подают, преувеличено. А у нас — вы сами видели. Приезжих мало. Хотя, конечно, многое зависит от сезона. В среднем можно сказать, что подаваемость растет летом и снижается в холодное время года, но при этом колеблется в зависимости от разных факторов, которые не всегда легко учесть. В общем, — заключил он, — это мало разработанная тема».

Я спросил К. К., не приходила ли ему в голову мысль самому написать руководство по теории и практике нищенства.

«Приходила. Но такие труды существуют. Например, известный учебник Рейдиха и Кнехта, перевод с немецкого... Но, видите ли, чему нас могут научить немцы? У них и нищих-то настоящих нет. В этом отношении, как и в других областях, Россия — уникальная страна. Как вы понимаете, я говорю не о вульгарном попрошайничестве, а о нищем страннике как об особом типе, если хотите, олицетворении народного духа. О богомольцах на папертях церквей, о поющих слепцах... Конечно, — добавил он, — если вернуться к прозаическим будням, то огромное влияние на подаваемость оказывает количество просящих».

Всё же, побуждаемый беспокойством за своего друга, я заглянул однажды на железнодорожную станцию. Может быть, мне не следовало это делать. Может быть — и даже почти наверняка, — я причинил вред учителю. Мне неприятно об этом рассказывать. К тому же я как-то плохо помню, что произошло. Если бы не все последующие события, я бы сказал, что случилось то, чего следовало ожидать. Нечто нормальное, закономерное. Когда я добрался до дому, тётя Леля ужаснулась. Я наплел ей что-то. Фотиеву я, разумеется, не сказал ни слова.

Посетить знакомые места, вспоминая, как ты впервые здесь очутился, — всё равно, что увидеть оригинал, некогда прочитанный в переводе. Всё то же самое и совершенно другое. Я шагал по эстакаде, поглядывая сверху на мерцающие рельсовые пути, на видневшиеся невдалеке домишки рабочего поселка, куда мы ездили однажды с Алевтиной, на далекие молчаливые леса. На перроне перед камерой хранения, запертой, как и тогда, — обеденный перерыв, очевидно, длился весь день, — на солнышке грелся сиделец. Я было решил, что это Кузьмич, хотел незаметно уйти, чтобы не отвлекать его, но на рабочем месте Фотиева восседал другой проситель. Некто, чьи черты изображали профессиональную скорбь, а манеры выдавали наглость и неуважение к правилам и законам. Старый знакомый.

Завидев прохожего, он громко прочистил горло:

«Вот умру я, умру я, похоронят меня! И никто-о...»

Омерзительный козлиный голос и устаревший репертуар: я знал эту песню с детства. Но мы находились в отсталой провинции.

«Подайте больному, убогому, раненному на фронтах Отечественной войны... Наше дело правое, вечная слава героям, павшим за нашу родину. По силе возможности, кто сколько может».

Я приблизился.

Узнал ли он меня? Подняв голову (я стоял спиной к солнцу, как Александр перед Диогеном), прищурившись своим единственным глазом, он ответил, что не знает никакого Кузьмича.

«Как это так не знаешь?»

«А вот так».

«Ты занял его место».

«Чего?»

«Чужое место, — повторил я, — здесь сидит Кузьма Кузьмич Фотиев. Ясно?»

Он высморкался двумя пальцами, энергично стряхнул сопли и вытер пальцы о штаны.

«Пошел на х.. отсюда», — буркнул он.

«Сам пошел, гад, — ответил я. — Если Кузьма Кузьмич узнает, знаешь, что он тебе сделает? Да ты больше ни копейки не соберешь, кусошник». Что-то в этом роде сказал я ему, ибо меня не так просто было запутать, я уже был не тот, каким приехал. Не тот, бесправный и беззащитный, в которого можно было без зазрения совести ткнуть пальцем и сказать: «Это он свистнул простыню в гостинице!» У меня было местожительство, и сам Борис Борисович взялся меня прописать.

«Не твоя забота, — ответил одноглазый. — Е... ли мы твоего Кузьму Кузьмича. Сволочи, ходят тут... Человек с голоду умирает, а они ходят».

Я рассердился.

«С голоду? Ах ты, едрена вошь! Небось опять всё проиграл? Я тебя знаю! По-моему, мы где-то виделись».

«В гробу я тебя видел».

«Ты меня заложить хотел. Сука поганая. Ты сказал, что я продал простыню на базаре».

«Чего?! Какую простыню? Русского солдата оскорбляют! — заорал он. — Инвалида Отечественной войны! В душу плюют!»

На перроне, в некотором отдалении от нас, возвышался в форменной фуражке дежурный, я быстро подошел к нему и спросил, кто этот человек.

«Который? А хрен его знает».

«Давно он тут?».

Дежурный пожал плечами.

«Он занял чужое место».

«Какое такое место?»

«Там раньше сидел другой...»

«Хрен их знает. Всех разве упомнишь?»

«Мне кажется, вы как ответственное лицо...»

Дежурный смотрел вдаль, потом, повернувшись ко мне, окинул меня сумрачным взглядом.

«А ты кто такой?»

«Не всё ли равно... Я тут по делу».

«Ну и занимайся своим делом, не мешай работать. Встречаешь, что ль, кого?»

«Подайте! — закричал одноглазый. — Наше дело правое! Раненому инвалиду Отечественной войны! Кто сколько может!»

«Он кровь проливал, — сказал наставительно дежурный, — а ты небось в тылу ошивался».

«Я к вам обращаюсь как к официальному лицу!..» Опомнившись, я бежал следом за ним, свистки и шумное дыхание приближающегося локомотива заглушили мой голос. Поезд подошел к станции. Дежурный важно шагал вдоль вагонов. Головы пассажиров выглядывали из окон, никто не вышел. Издалека доносилось козлиное пение нищего:

«И никто-о не узнает!..»

«...где могилка моя!» Мусорные стихи преследовали меня. Мой мозг распевал проклятую песню. Темнело. Одноглазый исчез, пропал и дежурный, словно укатил вместе с поездом. Тишина заброшенной станции вновь охватила и околдовала меня, как в первый вечер. Город вымер. Мнимый покой и коварная тишина, ибо, как уже говорилось, визит на вокзал окончился для меня плохо.

Грязный, сопливый карлик — или скорее подросток — вынырнул из-под земли.  
«Дяинька...»

Из-за станционного здания, отталкиваясь деревяшками, похожими на утюги, выкатился еще один: инвалид на колесиках, с лицом, на котором невозможно было различить глаз и носа. Я повернул к эстакаде — там стояли два лба. «Дяинька, — это был гнусавый голос подростка, — дай закурить!»

В сущности, я был сам виноват, сунувшись куда не положено.

«Ребята, — сказал я, озираясь, — вы чего?»

«Дай мальцу закурить, чего жмешься-то».

«Я не курю», — сказал я.

«Ты смотри, какой фраер».

«Небось здоровье бережет».

«А чего, может, и нам бросить?»

«Ы! М-мы!»

«Жорик, ты чем недоволен?»

«Ы!» — отвечал инвалид.

«Дяинька, а это чего у тебя? Дай рубль».

«Дождешься от него... Пидор вонючий. Ну-ка. Жорик, врежь ему».

«А может, отпустим? Бздиловатый конек».

«Мы-мы. Ыхы!»

«Между рог врежь ему, у, п-падла».

«Ребята, я ж ничего не делаю... Чего вы?»

«Ничего не делаешь, паскуда? А зачем солдата обидел, героя Отечественной войны. Он за тебя кровь проливал».

«Пять копеек пожалел, шмуль. Пидар-рас. Врежь ему, Жорик».

«А может, отпустим?»

Некоторое время продолжалась эта игра, обычные фокусы: на меня замахивались, делая вид, что хотят почесаться или сунуть руку в карман. Комически охали, взвизгивали, точно я их ударил. Инвалид катался вокруг, отталкиваясь деревяшками, похожими на утюги, подросток, хлюпая носом, обыскивал меня.

Разумеется, я был сам виноват.

«Где лопатник, сука, давай лопатник».

«Вмажь ему. Между рог. По хоботу. По хохотальнику. Й-ех! Для здоровья полезно. Сучий потрох. Детей обижает. Солдата Отечественной войны оскорбил, фашист. И еще пасть разевает, сука, пасть разевает! Й-ех!»

Я лежал ничком, обхватив голову руками.

«Иии-йех-х!»

«Кончай драть. Разойдись. Врежь ему».

Инвалид Жорик с продавленным лицом разогнался на колесиках и молотнул меня деревянными утюгами.

«Еще разок врежь. Чтоб помнил!»

Меня перевернули рывком на спину, инвалид Жорик откатился еще дальше, чтобы разогнаться. Но споткнулся и повалился на бок. Роог Жорик. Его подняли. Он въехал мне на живот и молотнул еще раз.

«Кончай дрочить. Сесть!» Я приподнялся. Инвалид расставил культяпки ног, мыча и трясясь, вытащил из лохмотьев налитый кровью член, долго тужился и, наконец, облил меня мочой. Я сидел, опираясь руками о землю, босой, без пиджака, без рубашки, с разбитым в кровь лицом; вокруг не было ни души.

## Х

*Ученые бдения в библиотеке. — Происхождение электричества. — Пир Валгаллы. — За обедом у Кузьмича и брата Амвросия. — Недостойное поведение коадьютора. — Всемирно-историческая миссия русского народа.*

Я получил общественное поручение: Фотиев от имени Клуба старины просил меня привести в порядок книгохранилище. Его история примечательна. Верстах в шестидесяти от нас, выше по течению реки, находился другой монастырь. Говорят, библиотека была вывезена оттуда неким краеведом-энтузиастом. Попутно замечу, что версия, которую он яростно отстаивал — будто именно ту, а не нашу обитель основал упавший с коня князь, — решительно отвергалась мною, Иваном Игнатьевичем и другими экспертами общества. Монастырь был взорван, и сторонник ложной гипотезы погиб под развалинами. Фолианты в полустгнившей коже, крышки с болтающимися застежками и перевязанные шпагатом кипы распавшихся серых страниц перекочевали к нам в ожидании следующего удара судьбы, однако времена, как казалось нам, переменились. Любопытна эта всеобщая уверенность в том, что времена уже «не те».

Кузьма Кузьмич пропадал в городе или занимался у себя наверху. Никто меня не торопил. Нужно было ознакомиться со свалившимся на нас богатством. Кутаясь в драную телогрейку, я сидел за щербатым столом под сводами в подземелье, точнее, в одной из подвальных комнат; зрелище старых книг, аромат плесени, желтый блеск керосиновой лампы погружали меня в оцепенение, близкое к трансу. Часть библиотеки была размещена на грубо сколоченных стеллажах, остальное свалено на пол.

Изредка я слышал шаги, человек останавливался в раздумье, может быть, как и я. прислушивался к капанью воды и молчанию камня. Как и я, он испытывал потребность открыть душу. Наконец, изъеденная дубовая дверь заскрипела, заскрежетали петли, заметался огонь в стекле: учитель стоял на пороге.

«Зачем портить глаза?» — сказал он мягко. Перешагивая через груды книг, приблизился и протянул мне электрическую лампочку. Не без усилий я ввернул её в ржавый патрон. В темном углу отыскался выключатель. Брызнул слепящий свет, и некоторое время мы созерцали явившиеся нам в новом блеске полуразложившиеся сокровища.

Осмелюсь ли упомянуть о том, что это благодеяние прогресса тоже принадлежало баснословному прошлому... Какому прошлому. В отличие от великой национальной легенды, позолоченного ларца, в котором покоились нарумяненные князья и витязи, это прошлое было заколочено в черный гроб, сгнило и распалось; почернелые изоляторы на ржавых крюках, провода под каменным потолком, тянувшиеся неизвестно откуда, были реликтом эпохи, о которой не полагалось вспоминать. О ней и не помнил решительно никто во всем городе, за исключением, может быть, одного только милейшего Ивана Игнатьевича.

Что происходило в этих подвалах, по которым скрипели сапоги и метались тени адьютантов, где засел со своим штабом генерал в царских погонах, с голым блестящим черепом, с запекшейся стружкой крови на щеке? В этом последнем убежище, откуда остался единственный путь отступления — ввысь, сквозь бетонные перекрытия

в заоблачные чертоги, в славянскую Валгаллу. Там он и пребывал ныне и на вечные времена, сидел там за дубовым столом; сидит и сегодня, с простреленным черепом, с обломком старорежимной сигары в золотых зубах, рядом со всеми, перед кубком высотой в самовар. С князем Александром Ярославичем, с убиенными братьями Борисом и Глебом, с батькой Махно, с Чапаевым и Буденным. Сосет потухшую сигару, пьет напиток бессмертия, тычет вилкой в мясо вепря и подмигивает мертвым глазом девам-валькириям в кокошниках и похлопывает их по пышным задкам. Сидит, вспоминает, как защитники города отступали к реке, как взлетел мост и загорелись лачуги правого берега, как отставшие захлебнулись в воде, помнит всё, но не может припомнить, как звали его самого.

«Всё никак не примусь за дело. Вообще здесь столько интересного...»

«Не всё сразу. А это что у вас? О! Вас интересуют такие вещи?.. Вы правы: тут работы по меньшей мере на несколько месяцев... Конечно, можно было поднять вопрос о передаче библиотеки в какой-нибудь институт или где там полагается всё это держать. Но, во-первых, надо еще найти этот институт: сложная канитель, как всё у нас... А главное, мне бы не хотелось. Мне книги нужны самому, для моей работы... Любопытное, кстати, сочинение, известно ли оно вам?»

Внезапно Кузьма Кузьмич умолк, приложил палец к губам и показал глазами в угол: из-под груды книг торчал длинный заостренный хвост. Он начал еле слышно насвистывать, дирижируя пальцем. Крыса выскочила наружу, повела усатой головой и уселась на задних лапках, как суслик. Кузьма Кузьмич медленно опустился на корточки, вытянул из кармана что-то завернутое в бумагу: кусочки еды. Несомненно, он был наделен сверхъестественным даром гипнотизировать животных. Он владел их языком. Свист становился всё громче, крыса облизывалась. Между тем Кузьма Кузьмич совершал в воздухе пассы указательным пальцем. Зверек послушно поворачивал голову. Кругом слышался шелест, мелкое постукивание лапок. Что-то мелькало в темных углах, жалобно попискивало под столом. Фотиев щелкнул пальцами, крыса высоко подпрыгнула и завертелась на месте. «Это очень умные существа, — пробормотал он, — пошла, пошла... Оставьте телогрейку здесь, она принадлежит этому кабинету».

«Вы моложе, чем кажетесь, — говорил он, поднимаясь впереди меня по узкой лестнице, — сколько вам, собственно, лет?.. Вы знаете латынь?»

Чтобы одолеть такую книгу, крысе требуется приблизительно четыре месяца... Сейчас я вам покажу одно место. Одно поистине замечательное место».

Беседуя, мы вошли в кухню.

«Вот. Воистину всё новое есть лишь хорошо забытое старое. *Ut Christus Jesus de stirpe Davidica pro liberatione et dissolutione generis humani... sic etiam in arte nostra...* ну и так далее... Текст служит прекрасным подтверждением этой мысли».

«Какой мысли?»

«Что всё новое — это хорошо забытое старое... Дорогой мой, — сказал Кузьма Кузьмич с укоризной, — вы что, ворон считаете? Для кого я трачу мою умственную энергию?»

«Извините, — пролепетал я, — для меня это действительно так ново...»

Почти сразу же вслед за нами вошел, стуча когтями, упомянутый мною выше парень, впрочем, уже не молодой, скорее даже дедушка, бородатый и вислозадый коадьютор Общества памяти и охраны старины. Кузьма Кузьмич вперил в него испытующий взор; пес остановился в замешательстве, глаза его выражали глубокую скорбь жизни: Кузьма Кузьмич указал ему пальцем место возле своих ног.

«Как вы уже догадались, это тот самый Лулл...»

«Раймундус Луллиус, изобретатель логической машины, родился в 1235 году, погиб в Северной Африке в 1316-м», — отбарабанил с пола коадьютор.



«Совершенно верно. Не устаю удивляться твоей эрудиции... Так вот... Не удивляйтесь тому, что я так легко перевожу, я просто хорошо знаю эту цитату; вообще-то мои знания не так обширны, как кажется, — продолжал Кузьмич, водя пальцем по книге. — Подобно тому, как Христос по имени Иисус из отрасли Давидовой обрел человеческую природу ради освобождения и отпущения рода человеческого... так и в нашем искусстве то, что одним веществом пьют, другим, противоположным, очищается от нечисти, отпускается и разрешается... вот таким макаром... и то, что удалилось от совершенства, становится совершенней, а совершенное оказывается несовершенным! Это из его завещания. Мысль понятна: он хочет сказать, что подобно тому, как Христос искупил грехи человечества, так философский камень искупает и очищает нечистую материю... Вы спросите, какое это имеет отношение к моим исследованиям».

Беседа всё больше интриговала меня, и больше того: я сам чувствовал себя объектом гипнотического сеанса.

«Амвросий, — промолвил Кузьма Кузьмич, — у меня к тебе настоятельная просьба. Не пользуйся керосином. Умоляю тебя. Еще не хватало, чтобы к нам нагрязнула пожарная инспекция».

«Дрова сырые», — буркнул брат Амвросий. Чуть ли не половину кухни занимала печь с плитой и дымоходом.

«Не сердись. Не смотри на меня так... Что я хотел сказать? На чем мы остановились?»

«На Лулле», — сказал коадьютор.

«На Лулле. Смех смехом, но я напому вам другое произведение классической литературы, в некотором смысле, э-э, продолжающее великую мысль средневековья. Помните, во второй части «Фауста» доктор и его спутник посещают лабораторию Вагнера. Очаг, какие-то колбы или кастрюли: вроде этой кухни. Ставится решающий эксперимент. Только бы получилось... Но, чу! Кто там скрипит дверью?»

Пес вскочил и повернул бородатую морду к выходу.

«Да сиди ты, — сказал Фотиев, — это я просто рассказываю. Входят Фауст и Мефистофель. Только, пожалуйста, говорит Вагнер, ведите себя потише».

«А что такое?» — пролаял коадьютор.

«Сейчас на свет явится человек. Вы, наверное, не читали вторую часть?»

Я сделал неопределенный жест.

«Ничего, прочтете, вы еще молоды... Очень советую. Ведите себя тихо, сейчас на свет появится человек. А где же, спрашивает дьявол, спряталась влюбленная парочка? На что профессор Вагнер — он ведь уже стал профессором — отвечает: «Избави Бог! Что прежде было модой, для нас отныне лишь ненужный фарс!..» У тебя что-то горит», — прохрипел Фотиев.

Суп клокотал в кастрюле, и одна странность следовала за другой. Кашляя от чада, мы принялись за еду. Перед своей миской в углу пес, положив голову на передние лапы, дожидался, когда суп остынет. Молодой монах стоял у плиты, скрестив руки на груди.

«А ты?»

«Я сыт», — возразил Амвросий.

«Смех смехом, — обжигаясь, говорил Кузьма Кузьмич. — Однако обратите внимание. В уста этого алхимика Гете вложил очень важную, я бы сказал, пророческую идею. Вагнер говорит: если зверю положено предаваться сладострастию, то человек призван к более высокому и благородному происхождению. И вот в кипящем супе рождается гомункулус, колба парит в воздухе, человек рассказывает о каких-то там невероятных видениях, всё это может показаться чепухой».

«Еще бы, — буркнул коадьютор. — Еще бы не показалось».

«Да? Ты так думаешь?.. А, скажем, черепки, которые откапывает археолог, это тоже чепуха? Между тем среди этих обломков оказываются истинные произведения искусства... Да, если угодно, я тоже археолог. Мифология и суеверие соединены с утраченным знанием, просто так махнуть на него рукой было бы непростительно. Древнее знание должно быть оплодотворено современной наукой».

«Сравнил хер с пальцем».

«Но-но, полегче! — закричал Фотиев. — Древняя мудрость оставила нам ряд основополагающих идей, а лучше сказать, ослепительных догадок. Дело науки — уточнить эти догадки и претворить их в практику... Я вам скажу, — продолжал он, — одна из главных, главнейшая, может быть, идея средневековой алхимии, и медицины, и вообще всякой учености формулируется просто: только природа способна преодолеть природу. То, что вначале может показаться противоестественным, фантастическим и недостижимым, на самом деле достигается естественными средствами. Соединить Христово учение с достижениями земной, теллурической науки, вторгнуться в естественный кругооборот веществ, повернуть вспять процессы разложения, вдохнуть жизнь в умершее и восстановить распавшееся — подумайте, так ли уж это фантастично?»

«Сколько можно терпеть? — захныкал над своей миской коадьютор. — Он никогда не остынет...»

«Эротическая терминология алхимии как раз и подразумевает преодоление низменного в человеке. Все эти соединения и отталкивания, цари и царицы, химические любовные истории и страстные смещения элементов, свадьба в реторте... Роман души проецируется на превращения веществ. Наконец, кусающий себя за хвост уроборос. Разве это не прямое указание на возврат к порождающим истокам? Наша земля — это земля наших предков. Всё вещество есть прах предков, мы живем на планете, которая представляет собой не что иное, как утрамбованный прах наших предков. Их души, их угасшее сознание изнывают там, в земле. Мы топчем предков в буквальном смысле слова!»

С супом было покончено, после чего самым естественным образом, как вывод из двух посылок силлогизма, на столе воздвиглась бутылка. Я вспомнил вечер у тети Лели, когда Кузьма Кузьмич предварил возлияние сообщением, что он не пьет.

«Тебе тоже? Сколько?»

«Стакан сам покажет», — важно ответил пес.

Кузьма Кузьмич поднял брови. Выпили, он потер ладони и щелкнул пальцами.

«Если химические реакции суть отражение бессознательной душевной жизни человека, то тут открывается, не правда ли, прямая дорога к собиранию души из её элементов».

«К воскресению?» — спросил я.

«Dixisti! — так и разыграл Кузьма Кузьмич. — Ты сказал! Давайте, — продолжал он, потирая руки и ударяя ладонями по коленкам, — посмотрим в корень зла».

«Давайте, — вскричал я, — посмотрим в корень зла!»

«В чем корень зверского, небратского, нелюдского состояния человека, отчего человек человеку волк?»

«Оттого, что он человек, а не собака», — ответил коадьютор.

«Совершенно верно, мой милый... — Учитель наклонился и погладил пса. — Так вот! Причина двоякая. Перво-наперво, эгоизм. Фрося, ты бы села, что ли... Эгоизм, доведенный до крайней степени капиталистической системой».

Если не ошибаюсь, мне уже приходилось говорить о том, что компания моих новых друзей, странное существование посреди развалин — о разговорах и говорить нечего — у каждого нормального человека должны были вызвать подозрение. Общество охраны старины, патриотизм, национальные корни — всё это прекрасно и замечательно. А всё же криминал налицо: подпольная организация. Под видом научных

докладов, и так далее, и тому подобное. Отсюда недалеко до чего угодно: до заговора, до террора, до связи с иностранными разведками. Одним словом, не требовалось никаких усилий, чтобы подвести всех нас под статью уголовного кодекса. Вот почему меня так ободрили аргументы Кузьмы Кузьмича, в частности его критика капиталистического общества. А услышав сквозь винные пары (весьма ослабившие мою бдительность) ссылки на Маркса, я просто обрадовался.

«Ты, кажется, ворон считаешь, вместо того чтобы следить за моей мыслью», — промолвил Фотиев. Как-то незаметно мы перешли на «ты», вернее, Кузьма Кузьмич стал говорить мне «ты». Я чувствовал себя польщенным. Я поспешил заверить его, что слушаю с неослабевающим вниманием. Так оно и было.

«На чем мы остановились?.. При капитализме истинной первоматерией становится что? — Он сделал движение двумя пальцами. — Деньги! Текучая, многоликая, бесконечно изменчивая материя, но она основа всего. Имущество — это деньги, природа — деньги, человек — тоже деньги. Какой-то политэконом даже вычислил, сколько стоит Бог. Он имел в виду сумму, в которую обошлась человечеству выработка понятия Божества. Сколько-то там миллиардов... И в самом деле. Возьмите вы, например, лютеранство. Ведь они так прямо и говорят: чем больше у человека денег, тем он благо-угоднее Богу».

«Я лютеран люблю богослуженье», — прорычал коадьютор.

«Совесть, мораль, искусство — всё, как сказал Маркс, становится в этом обществе товаром, любую вещь можно продать, купить, превратить в собственность. А там, где начинается собственность, там кончается братство. Это первое. Ну-с, а во-вторых, наряду с этой силой, вложенной дьяволом в общество, силой богатства, чьим орудием, скажем прямо, является буржуазная демократия, плутократия и, конечно, — он поднял палец, — еврейство... Наряду с ними есть другая дьявольская сила, вложенная в самого человека. Это сила, заставляющая два пола соединяться, чтобы породить третье существо. Сила эгоистическая, ибо направлена она на обладание, а в перспективе — продолжение себя в потомстве. Жажда породить третье существо, которое, в свою очередь, будет искать для себя пару, чтобы снова совокупляться, и так далее, вот что вносит вражду в мир, заставляет думать только о себе и о продолжении себя и забыть о тех, кому мы обязаны всем, — о предках, об отцах».

«Слыхали мы всё это...» — буркнул коадьютор, встал и, шатаясь, направился к выходу. Кузьма Кузьмич укоризненно покачал головой, глядя ему вслед. После этого некоторое время было слышно, как кобель жалостно скулил снаружи.

«Спивается, — сказал Фотиев, — спивается на глазах у общественности, и никто пальцем не пошевелинет! Как будто так и надо».

«Что ж я могу поделать, — возразил угрюмо брат Амвросий, — вы сами его угощаете...»

«Это тем более странно, что он еврей».

«Кто, пес?» — спросил я.

«Конечно, разве вы не заметили? Откуда, вы думаете, у него такие способности? А это вечно кислое, вечно недовольное выражение на морде? Я думаю, он даже обрешан».

День померк за глубоким окошком-амбразурой. Юный черноризец стоял, прилоняясь к остывшей плите, сложив руки под грудью. Кузьма Кузьмич возобновил свою речь:

«Сейчас мы можем лишь смутно представить себе, каким будет общество братства, родственности, общество-семья. Но ведь мы и есть одна семья, дети единого Отца... Вот говорят: семья создается по образцу общества, — чепуха. Наоборот, общество должно быть пересоздано по семейному образцу и подобию! И тогда в нынешней семье, в существующем сейчас институте больше не будет надобности. Зачем

нужна эта замкнутая, отгородившаяся от других людей, эгоистическая псевдосемья, основанная на половом сожительстве? Для чего?»

«Но вы же не можете, — заметил я, — заставить людей отказаться от половой жизни».

«Плохо ты читал Фрейда, любезный, — качая головой, промолвил Фотиев. — Сублимация! Фрейд был великий очернитель человечества. О-о, худшей, гнуснейшей клеветы на человека придумать невозможно. Но он был прав в одном: всё зло началось с восстания против отца. Вся западная цивилизация, если хочешь, выросла из этого восстания против отца, из бегства от отца. Куда? К женщине. Вниз, в разверстую... Пардон. Отучить людей от желания спариваться — хм, да, уввы. Отучить невозможно. Но можно — и нужно! — это желание переключить, возвысить, сублимировать. Нужна великая цель».

Я больше не прерывал моего учителя, речь его лилась вдохновенным потоком, глаза сверкали.

«Произойдет великий синтез религии с наукой, метафизического и позитивного. Время разбрасывать камни, и время собирать камни... В древности был обычай: друзья при расставании разламывали пополам общий предмет, символ их связи, и уносили половинки с собой. Через много лет, при встрече, достаточно было соединить половинки, и старые товарищи узнавали друг друга. Представь себе, что наука в конце концов научилась — а это так и произойдет — распознавать те особые маркировки, которыми помечены родственные частички, когда-то принадлежавшие общему телу. Вещество Земли как бы осветится изнутри, мы сможем соединить рассеянные частицы плоти, сложить разъединенные молекулы, как это происходит при встрече друзей, мы будем отчетливо видеть, в каком доме они гостили вместе».

«Время собирать камни, — сказал Кузьма Кузьмич. — Христос всё соединяет. Христос не копит, не приобретает, не владеет собственностью. Это во-первых. А во-вторых, он не женится. Женщины и девушки, которые следуют за ним, — это не жены и не любовницы. Это сестры. Христос не женится и не рождает детей; зато он воскрешает умерших. Понятно, почему необходимо, чтобы Христос был зачат сверхъестественным путем, почему естественное зачатие отпадает. Потому что нет никакого резона размножаться, если веришь в бессмертие... О-о, я вижу в этом великий символ, великий пример и пророчество. Удрученный ношей крестной... ты не забыл эти стихи? Кто ж их не помнит. Христос указывает нам на единственную страну, которая возродит человечество, погрязшее в стяжательстве, в похоти, в небратстве. Вы догадываетесь, о какой стране идет речь... Я хочу сказать — догадываешься. Если не ошибаюсь, у Иоанна в одном месте Иисус говорит: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, там вас не будет...» Так вот. Есть серьезные соображения в пользу того, что здесь имеется в виду нечто вполне конкретное и в смысле времени, и в смысле пространства. Он говорит иудеям: там вас не будет... И видит перед собой огромную страну на северо-востоке... Этот хрен моржовый ушел, мы можем говорить начистоту... Христос указывает на Россию. На единственную страну, где его слово, его учение, его светлый образ не заляпаны грязными руками еврейско-капиталистического стяжателя. Страну, сохранившую глубокое целомудрие в обоих смыслах этого слова. Вопреки всей своей грешной истории... Но я спрашиваю: где эта греховность? В чем она? В неумении оправдываться, восхвалять себя? Заноситься перед миром? Я напому вам... То есть тебе. Давай уж окончательно на «ты», по-нашему, по-простому...»

Мы растроганно обнялись и выпили на брудершафт.

«А вы... А ты?» — спросил я у Амвросия.

«Он монах в миру, вроде Алеши Карамазова, не трожь его. Он не пьет. Я тоже не пью. Разве что за компанию. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Так вот. Что я хотел сказать... Напому еще один эпизод. Оттуда же... К Спасителю приводят

женщину, обвиненную в распутстве. Закон велит побивать блядей камнями. «А ты что нам скажешь? Надо или не надо?» Иисус молчит и чертит пальцем по песку. Его спрашивают, а он молчит. Наконец он поднимает голову, обводит всех глазами, всю толпу, и говорит: «Пущай, кто из вас безгрешен, швырнет в неё камнем. Бросайте, я разрешаю. «И снова чертит пальцем. Молчание. Никто ни с места. Безгрешных-то ведь нет! И стали все потихоньку расходиться. Тогда Христос говорит блуднице: «Подойди ко мне. Где твои обвинители? Никого нет! Может, ты и не виновата? Тебя оболгали? Иди. Ты самая целомудренная из всех». Можете... Виноват: можешь. Можешь меня называть фантастом, но я вижу в этой сцене аллегорию. Эта молчаливая женщина, осмеянная, ославленная, без вины виноватая, кроткая, у которой нет слов в свою защиту, ведь это Россия! Россия!»

Дрожащими руками, со слезами на глазах Кузьма Кузьмич налил себе, налил мне и, немного успокоившись, промолвил:

«Нам не привыкать. Разве этому народу не приходится тяжелее всех в огромной стране, где всякий им командует, где всякому иностранцу почет и привилегия и всякому инородцу — богатство, а наш брат-русак... эх... Не думай, что я пьян. Я просто устал. От хорошей жизни милостыню просить не станешь. Вот так, брат. Таким макаром. А впрочем, всё это... — Он махнул рукой. — Суета сует!»

«Что суета сует?» — спросил я.

«Всё!.. Всё суета. Иди ко мне, — сказал он вдруг. — И ты. Фрося... По-братски, по-сестрински... Брат Моисеич! Амвросий! Милые вы мои! Идите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы...»

Я понял, что мне пора уходить, и, кое-как выбравшись, побрел прочь из монастыря.

## Лазарь. Тракта́т о жизни вечной

Укажем на два недостатка распространённой концепции бессмертия. Во-первых, она недоказуема. Человеческая душа оказывается бессмертной после того, как человека уже нет. Переселение в загробный мир равнозначно, по удачному выражению поэта, путешествию в страну, откуда ни один турист не возвращался, другими словами, не представил доказательств, что такая страна существует. Второй недостаток — тот, что эта теория игнорирует целостность человека. Даже утрата отдельного органа воспринимается как невозполнимая потеря. Умерший же теряет все органы. Невозможность представить себе дальнейшую жизнь без головы и тела есть не что иное, как признание факта целокупности — на неё-то и посягает теория. Ибо она повторяет старинное заблуждение, противопоставляя психическое телесному, субъекта — объекту. Между тем тело есть «объект» лишь когда это не моё тело: когда его обзревают извне, когда оно может стать предметом лечения для врача, целью вождения для сластолюбца, моделью для живописца, мишенью для стрельбы и так далее. Постигаемое изнутри — здесь приходится признать правоту немца Шопенгауэра, — тело уже не предмет, а ближайшая очевидность, и, добавим, в качестве таковой неотлично от души. Тело — это душа.

Опровержение дуализма христианской теории бессмертия содержится в практике самого Христа, который возвращал жизнь умершим на этой земле, не прибегая к разграничению души и тела. Итак, каковы же пути реализации вечной жизни? Их два. Заметим, что наши размышления не вовсе отменяют христианскую философию, но скорее поднимаются над ней. Рациональная концепция воскресения сочетает интуицию веры с достижениями положительных наук. Брак науки и веры сливается их воедино: вера — это и есть наука.

С некоторой точки зрения душа предстаёт как форма, задаваемая не природой образующих её элементов, но их конфигурацией, взаимным расположением и соподчинением. Это как бы книга, содержание которой не меняется от перепечатки; круги Архимеда, начертанные на песке, спустя века — на воске, ещё позднее — на бумаге. Аналогичным образом можно транспонировать личность человека с тленного субстрата на другой субстрат, из умирающих мозговых клеток на искусственную конфигурацию молекул. Таков первый путь. Но его надо отвергнуть, ибо он означает попытку пересадить душу в новое вместилище. Иначе говоря, протащить всё ту же теорию иноприродности души и тела.

Сие было бы неуместным и кощунственным обновлением давно отброшенной дальневосточной ереси о переселении душ — изменой Новому Завету. Вопрос не в том, чтобы сохранить душу, но в том, чтобы воскресить человека целиком и человечество в целом. Очевидно, что гниение тела не есть нечто таинственное и непостижимое; смерть не есть событие сверхъестественное. Вместе с тем частицы тела не могут рассеяться за пределами ограниченного пространства, как рассыпавшиеся бусы не могут выкатиться из комнаты. Соберите их, соедините частицы мозга, печени, сердца, мышечных волокон и клеток кожи — и сознание вспыхнет в воскресшем теле; ибо телесность — это и есть сознание. А отсюда вытекает, что дальнейшее размножение людей, ухаживание, соращение, совокупление и далее роды, и пелёнки, и детский сад — вся эта старая песня станет ненужной, отвлекающей от дела. Посему уже теперь, не откладывая, нужно подумать, целесообразна ли реконструкция органов похоти.

*Домашние обязанности. — Выгоды пребывания в колонии. — Кража сосисок.*

Нечасто высшая действительность глаголет языками огненными, обыкновенно она изъясняется на диалекте будней. Понемногу я привык вести ежедневные записи. Ничто не казалось мне недостойным внимания, и я старательно заносил на бумагу всё, что происходило с нами изо дня в день или, лучше сказать, заменяло нам происшествия: разговоры с тетей Лелей, капризы погоды, мелкие дневные дела, которые я выполнял в отсутствие Алевтины, и ночной изнурительный труд любви! По своей привычке к секретности я пользовался шифром, изобрел собственную систему и находил особое удовольствие в том, что дополнил её второй системой символов, обозначающих комбинации знаков. Нет худа без добра, и, может, к лучшему, что мои письма пропали. Они могли бы внушить властям больше подозрения, чем если бы я пользовался нормальным языком. Нечего и говорить о том, что с особым тщанием я конспектировал поучения Кузьмича. В конце концов я перестал таиться, вынимал тетрадку и торопливо записывал за ним, против чего он, впрочем, не возражал.

Я был доволен, и всё же странное существо человек! Временами мне становилось жутко. Я спрашивал себя: чего мне не хватает? Мне было не по себе, оттого что ничего не происходило. Возвращаясь по улице Александра Невского, я видел всё то же: заборы, дома и старых женщин. То здесь, то там я замечал в низком окошке между цветочными горшками сморщенное лицо в темном платке. Все жители в этой части города были старухи, одни постарше, другие помоложе, оказалось, что старость — это не возраст, а этнографическая черта; были древние старухи, ничего не помнившие, были совсем молодые старухи, были девочки-старухи; все, независимо от возраста, носили кофты и длинные юбки, прятали жидкие волосы под платок, подтягивали концы платка под подбородком старушечьим жестом, поджимали губы и отводили глаза, взглядывали исподтишка, говорили, закрывая рот рукой, словно стеснялись плохих

зубов; ничего не менялось, и, в сущности, это было прекрасно, это было то, о чем я мечтал. Я больше не совался не в свои сани, старался не показываться на базаре и вблизи железной дороги. Утром, поднимаясь с подушек — Али уже не было, на столе ждал завтрак, близнецы были отведены в детский сад, — я знал, как пройдет этот долгий день, как наступит ленивый солнечный вечер, и я отведу детей к соседке, не чаявшей в них души, или уложу спать в нашей комнате. Иногда мы их брали к себе в кровать, немного спустя Алевтина в темноте уносила их в угол комнаты на приготовленное ложе, возвращалась ко мне и ложилась, и я заступал, как шахтер, на ночную смену. В молчании совершал я свою работу, точно выполнял норму, кровать скрипела и скрежетала, и Алевтина оседала и осыпалась подо мной, как порода. Время от времени я заходил в контору трамвайного парка. Вопрос был решен, не хватало каких-то формальностей. Ничего не менялось. И всё же что-то готовилось, что-то затевалось в подземельях жизни.

Однажды ни с того ни с сего тётя Леля обронила:

«Не ходи к ней».

Я взглянул на неё с удивлением, она удалилась, не дав себе труда объяснить, в чем дело. Был вечер, лампочка под матерчатым абажуром освещала скатерть, тикали ходики — слабый родничок времени, пробившийся из-под земли. Я вышел на кухню следом за хозяйкой, там никого не было. Стало невыносимо жутко, вещи поскрипывали и посапывали, в углах слышался шорох. С улицы донесся истошный крик. Я высунул голову на крыльцо. Всё было мертво и сонно, я вернулся. Журчали ходики. Тётя Леля сидела в очках за столом и читала газету.

«Чего ты носишься, — промолвила она, — садись, посиди... Вот я тебе сейчас прочту. Ты подумай, американцы-то что затевают! Живем, ничего не знаем».

«А что такое?» — спросил я с притворным интересом.

«Нет, что творится, ты только представь!» — продолжала она, не отрываясь от газеты.

«Я ничего не знаю».

«Вот то-то и оно, что никто не знает, ни ты, ни я. Ничего люди не знают. А они там... Жучок этот, как его?»

«Колорадский?»

«Вот. Засылают к нам насекомую».

«Как это — засылают?»

«По почте. К примеру, ты получаешь посылку. Открыл, а там...»

«Тётя Леля, — сказал я. — Мне очень неудобно перед вами. Я уже столько времени живу, а моё положение до сих пор не прояснилось. Я знаю, что я вам задолжал...»

Подняв голову, она поглядела на меня поверх очков.

«Не твоя забота; живешь и живи. Вот послушай, я тебе лучше прочту...»

«Вы не хотите меня выслушать».

«Чего тебе, плохо здесь? Живи».

«Мне неловко быть нахлебником. Мне в отделе кадров твердо обещали, вроде бы даже проект приказа уже написан; и вот которую неделю хожу, и каждый раз то делопроизводителя нет, то директор в отпуске; теперь директор приехал, но у него, видите ли, нет времени наложить резолюцию. Я говорю секретарше: «Может, мне самому пойти к директору?» «Нет, — говорит, — директор на совещании». Я обратился снова в отдел кадров, мне говорят: «Сначала надо прописаться». Я говорю, меня прописали. Ведь меня же прописали, договоренность уже есть? Ведь Борис Борисович обещал?»

«Да чего ты суетишься, — возразила она, — леший с ними со всеми. Свет, что ль, на них клином сошелся? Другую работу найдешь. А то вовсе плюнь. Живи так».

«Как это?»

«А вот так: хошь так, хошь эдак; авось не объешь нас. Костюм тебе какой-никакой справим. Евоный можно перешить, укоротить чуток, вполне тебе подойдет. — Имелся в виду выходной костюм мужа Алевтины. — Будешь где-нибудь подрабатывать, а устраиваться необязательно. А то справку тебе достанем, у меня есть врачиха знакомая. Она тебе что хочешь напишет. Будешь, как Кузьмич».

Последняя фраза прозвучала странно, но тётя Леля объяснила, что Фотиев числится инвалидом детства. Это легализует его статус.

«А я думал...» — пробормотал я.

«Чего ты думал?»

«Я думал, как председатель Общества, он...»

«Какой еще там председатель, — сказала она презрительно. — В общем, если кто прицепится, пожалуйста — у него справка. И тебе справку сделаем».

От души поблагодарив хозяйку, я повторил, что мне всё же совестно сидеть у неё на шее и, кроме того... Тётя Леля перебила меня:

«Не у меня сидишь... Да что это вообще за разговоры: на шее! Мужик на то и мужик. Ты на меня не серчай, — сказала она, — я женщина простая. Чего уж там крутить, природой так положено. Главное, на других баб не заглядываться. Я так считаю».

«Разве я заглядываюсь», — сказал я смеясь.

«Кто тебя знает. Ну, шучу, шучу!»

Я напомнил тёте Леле, что мне до сих пор не вернули паспорт.

«Никуда твой паспорт не денется».

«Но всё-таки что-нибудь там получается?»

«Милоч, я разве знаю? Получается... Получится».

Я вздохнул. Так я и знал: с моим паспортом...

«Да не в паспорте дело».

«А в чем?»

«В больнице он».

«Кто?»

«Кто, кто. Борис Борисович».

«Что случилось?»

«Господи, да ничего не случилось! Да я не знаю, — мялась она. — Люди говорят...»

Это была какая-то путаная история о том, как начальник в ожидании ревизии уволил двух подчиненных, они настучали на него в область, вместо знакомого ревизора прибыл чужой человек, что и вынудило Бориса Борисовича срочно захворать: предынфарктное состояние. Тётя Леля расценивала ситуацию оптимистически:

«Обойдется, чай, не первый раз... Недельки две подождем, всё уляжется, он тебя и пропишет. Может, уже и прописал... А справку, — добавила она, — мы уже тебе сделаем».

Я встал.

«Сиди».

«А что случилось?»

«Побудешь дома», — молвила она кратко, не поднимая головы от газетного листа.

«Да в чем дело?»

«В чем, в чем. Всё тебе надо знать. Петух приехал».

Вот тебе раз: Петух... Огорошенный неожиданной и неправдоподобной новостью, я не знал, что сказать. Прежде всего я не понимал, как это может быть, что ему позволяют свободно шататься. А во-вторых, было абсолютно непостижимо, почему Алевтину до сих пор, не взяли за ж... Прошу прощения за общепринятый оборот речи. Я хочу сказать: почему до сих пор её не тягали?



Почему не вызывают меня? Значит, он всё-таки освободился? С другой стороны, он как будто собирался в Челябинск... Надо же, а я еще роптал на то, что жизнь становится слишком однообразной. Едва я успел почувствовать себя вольготно, расслабился, разленился, даже подумывал о женитьбе, как беда выросла на пороге.

«Говорила ей: не смей больше к нему ездить, не муж он тебе. И детям он не отец... Нет, опять потащилась».

Из этих слов как будто следовало, что муж Алевтины не был освобожден и никуда не уезжал. Разумеется, режим в колонии не сравнить с лагерем. Всё же я спросил: «Как ему удастся во второй раз?» «Деньги есть, — сказала тётя Леля, — вот и удастся».

Значит, это она привезла ему денег. Зачем? Рассчитывала на то, что уедет навсегда за тысячу верст? Может быть, и паспорт ему добыла. Учитывая связи тёти Лели — почему бы и нет?

«Зачем он приехал?»

«Известно, зачем. За деньгами».

Получался заколдованный круг.

«Что же теперь делать?» — подумал я или сказал вслух.

«Сиди... Без тебя обойдутся».

Она прибавила:

«Ничего ты ему не объяснишь, только хуже будет».

Мы сидели за столом, свет падал на седые волосы хозяйки, в углу блистала икона. Разве, думал я, моя собственная жизнь в городе не была побегом? Как дитя прячется от жестокой матери в её же подол, так и мы бежали из страны в её глубины.

В дополнение к сказанному по поводу топографии города упомяну о совершенно новой дороге к монастырю. Можно предположить, что ручей на дне оврага, через который мы перебирались с Иваном Игнатьевичем в день нашего знакомства, был некогда речкой, и, следовательно, обитель первоначально стояла на острове, а не на мысе. Новый путь, открытый мною, проходил по ветхому деревянному мостику через приток, чье устье было видно с противоположного берега. Но и тут, сойдя с моста, вы должны были долго блуждать по безлюдным улочкам, продираться в кустах, обходить топкие места и взбираться наверх, к циклопическим стенам, за которыми неподвижно плыл в облаках белый шатер с проржавевшей луковицей.

Войдя во двор, я остановился; я не подозревал, что казавшийся нелюдимым, хмурый и неприветливый брат Амвросий обладает таким красивым грудным голосом. Он ходил между веревками и пел, за мокрыми простынями мелькали его ботинки и черный подол рясы. Немного погодя он показался с пустым тазом, с гирляндой прищепок на шее. Я спросил, дома ли Кузьмич. Мы молчали, я смотрел на Амвросия, он — на облачное небо, как бы спрашивая себя, можно ли доверять погоде. «На вокзале?» — спросил я. Он пожал плечами и двинулся прочь, держа таз под мышкой. Мне показалось, что на этом разговор закончился. Вскоре, однако, черный юноша воротился, поглядел вокруг и присел на край большого тесаного камня. «Может, на стадионе», — сказал он. «Разве в городе есть стадион, — удивился я, — и много ли удастся там заработать?» «Как когда, — отвечал брат Амвросий. — Да он на стадионе не работает. Он болеет». «Как это, болеет?» «Как все. За нашу команду».

Из-под обгоревшего автобуса вылез и поплелся к нам вислозадый пес-коадьютор.

«Пошел вон, прохвост».

«В чем дело?» — спросил я.

«Он сам знает, в чем дело. Паршивец».

Кобель смотрел на нас с умоляющим видом.

«Я битых два часа простоял в очереди, а он, паршивец...»

«Это не я, — просипел пес. — Это кот».

«Рассказывай; будто я не видел».

«Это он. Мне только обеды достались».

«Не хочу ничего слышать; пошел отсюда».

Несколько осмелев, коадьютор Общества старины проворчал, что он так дело не оставит и будет жаловаться.

«Ах ты, тварь! — возмутился Амвросий. — Он еще грозить мне вздумал. Иди жалуйся! Хоть в Верховный Совет».

Кoadьютор ничего не ответил, понурил голову и сел поодаль. Там он принялся яростно искать блох, щелкал остатками зубов и горестно озираал руины монастыря слезящимися очами.

«Сколько ему лет?»

«Старый... лет двадцать. Старый, а губа не дура. Я за этими сосисками два часа стоял; по полкило давали; думал, не достанется».

Я спросил у брата Амвросия, не пробовал ли Кузьма Кузьмич устроиться куда-нибудь на службу.

«А зачем?»

Мы сидели на камне вполоборота друг к другу, я не видел выражения его лица.

«Можешь ли ты мне объяснить...» — начал я. Барбос в отдалении от нас с трудом поднялся и сделал неудачную попытку пройтись на задних лапах.

«Это он старается обратить на себя внимание, — промолвил Амвросий. — Вы что-то хотели спросить?»

«Да, — сказал я. — Вот ты носишь рясу...»

«Подрясник».

«Я хочу сказать, ты монах. Но ведь монастыря, собственно говоря, давным-давно нет. Тебя могут привлечь к ответственности за тунеядство, как у них это называется...»

«Я не монах», — перебил он меня.

«А кто же ты тогда?»

«Монахиня».

В продолжение этого разговора я наконец разглядел его несколько ближе. Не то чтобы забылось его внезапное явление в белой одежде после заседания Клуба. Но, как ни странно, я согласился считать брата Амвросия мужчиной (а лучше сказать, существом неженского пола) не только потому, что так здесь было принято. Похоже было, что он и в самом деле не был женщиной. Подросток? Да, пожалуй; взрослый подросток. Короткие волосы спрятаны под скуфейкой. Серые глаза, прозрачные до пустоты, впалые щеки. Лицо казалось смуглым. Он был худ, несколько угловат. Помолчав, он добавил:

«Это не секрет».

«Ты хочешь сказать...»

«Для наших».

«Зачем же тогда?..»

«Затем, что мы все братья. Если бы я не была братом, меня бы не взяли в члены Общества».

Я спросил, живет ли она здесь, в монастыре.

Амвросий пожал плечами, покачал головой.

«У тебя есть родители?»

«В деревне: мать. Да что вы на меня так смотрите. Я учусь. В педике».

Она имела в виду педагогическое училище.

«Извини, Фрося, что я у тебя выпытываю. Это не пустое любопытство. Или, вернее, нет... то есть мне действительно очень интересно. Как же ты с Кузьмой Кузьмичом познакомилась?»

«Очень просто, там же, где и вы, — улыбнулась она. — Ездил к отцу и на вокзале встретила».

«У тебя и отец есть?»

«Есть, но он с нами не живет... Я его уже давно там заметила».

«Кого заметила?»

«Кузьмича. Подошла и подала. Ну, и как-то так получилось, что мы разговорились. Я даже поезд пропустила. Он мне тогда рассказал притчу о Лазаре».

«Знаешь, Фрося, — проговорил я, — мне ужасно интересно тебя слушать. Но разве ты не боишься? Ведь я для тебя чужой, посторонний человек. И вообще. Вы тут собираетесь... Вы не боитесь, что на вас донесут?»

«Всё в руках Божьих», — возразил Амвросий.

«Я говорю так, потому что у меня есть некоторый опыт».

«А что мы такое делаем?»

«Видишь ли... что вы тут делаете или что мы тут делаем, не так уж важно, важен сам факт, что собираются и рассуждают на общие темы».

«Ну и что?»

«Пахнет организацией».

«Вы хотите сказать?..»

«Да».

«Ах, у нас тут такая глушь... Все и так друг друга знают. Тем более Кузьму Кузьмича. Его в горкоме знают. Наше Общество даже в газете упомянули как пример патриотической работы».

«Так-то оно так... я просто хотел сказать: у меня есть опыт».

«Кузьма Кузьмич тоже сидел, — возразила она. — Он там и решил главный вопрос».

Её лицо порозовело. Она расстегнула ворот своей черной одежды, под ним была нежная и тонкая, почти детская шея. Мне хотелось спросить еще кое о чем, меня томил любопытство, но она перебила меня:

«Вы у этой поселились, как её?..»

«Ты знаешь тетю Лёлю?»

«Да её каждая собака знает, — сказала она презрительно. — А как вы на Кузьмича набрели? То есть я хочу сказать: как вы с ним подружились?»

Я рассказал о вечере у хозяйки.

«Так я и знала. Она его приманивает к себе. Ведь приманивает, не отрицайте».

Мне хотелось её разуверить, тем более что подозрения её были, на мой взгляд, неосновательны.

Фрося проговорила, глядя перед собой:

«Хочет, чтобы он у неё поселился. Вы у Алевтины, он у неё».

Я предпочел придать разговору другой смысл и возразил:

«Что же тут плохого? Пожилой бездомный человек».

«Почему же это пожилой? — сказала она надменно. — И с чего вы взяли, что он бездомный?»

Наступила пауза. Пес исчез под кузовом автобуса. Я спросил:

«Как же теперь к тебе обращаться? Сестра?»

«Я не сестра. Я же вам сказала: я брат... Как вы не понимаете? Кузьма Кузьмич не создан для мещанской жизни. Ничего у этой ведьмы не выйдет. Если хотите знать, Кузьма Кузьмич вообще против брака — против всякого брака».

«Мне это известно, Фрося, я совсем не то имел в виду...»

Помявшись, я спросил, знает ли тётя Леля о том, что Фотиев живет здесь.

«Знает, как не знать. Сама сюда прибежала. Якобы ей кто-то сказал, что Кузьмич нездоров. Я её прогнала».

«Твой доклад, — сказал я, — произвел на меня большое впечатление. Ты, наверное, учишься на историческом отделении?»

«При чем тут я, мне почти всё Кузьма Кузьмич написал. Конечно, ссылки на его работы — это мною добавлено».

Она встала и остановилась передо мной, спиной к солнцу: тонкая черная фигура, одетая в сияние.

«Насчет тёти Лёли это ты напрасно».

«Я знаю, что говорю. Только, пожалуйста, не думайте, что я из каких-то там особенных чувств, из ревности или... Мне Кузьма Кузьмич как отец. Кузьма Кузьмич против брака, — сказала она надменно, — потому что брак ведет к продолжению рода».

«Какое уж там продолжение, люди-то немолодые».

«Да что вы всё заладили. Не такой уж он старый; знаете, сколько ему лет?.. Дайте мне договорить, что вы меня перебиваете!»

«Извини, Фрося...»

«Разница между Ветхим и Новым Заветом, между еврейской верой и христианской, — та, что там вам говорят — плодитесь и размножайтесь! А Христос победил язву сладострастия тем, что он не плодил детей, а, наоборот, воскрешал умерших».

«Ты хорошая ученица, — возразил я, — но мне немного странно слышать всё это от женщины».

Амвросий пылко возразил:

«Я его дочь. Кузьмич говорит, истинный образ женщины — это Корделия, которая верна отцу».

Она встала. В эту минуту в воротах показался Фотиев. Усталый, он издали прошествовал мимо нас, и я поспешил откланяться.

То, что мною сейчас изложено, я воспроизвел по памяти, то есть невольно привел в относительный порядок, придал рассказу, так сказать, беллетристическую форму. Другими словами, оказался в ловушке, можете называть её логикой повествования или как вам будет угодно. Мы думаем, что честно вспоминаем, а на самом деле причисываем действительность. Чем хаотичнее действительность, тем жестче эта логика. На самом деле чем дальше, тем разговор мой с двуполым братом Амвросием всё меньше походил на непринужденный обмен мнениями. И тем меньше было в нем последовательности. Скорее это было какое-то взаимное ощупывание. Словно я был слепцом и наткнулся то на одно, то на другое. Не говоря уж о том, что некоторые намеки в словах Амвросия, а вернее сказать, кое-какие нюансы смысла, дошли до меня позже. Подводный ход мыслей влек нас к запретным темам, к чему-то такому, до чего опасно было дотронуться, как до голых электрических проводов, и тянуло дотронуться.

Может быть, стоит добавить, что разговор принял рискованное направление, когда я осведомился у брата Амвросия, значит ли сказанное им, что Кузьма Кузьмич — противник всякой любви между мужчиной и женщиной.. Своим неуклюжим вопросом я хотел дать понять, что если традиционный христианский брак имеет целью деторождение, против которого наш учитель решительно возражал, ссылаясь на пример самого Христа, если брак, понимаемый в таком смысле, отвергается, то ведь можно любить друг друга без намерения продолжать род, ибо любовь и зачатие — не одно и то же.

Задав этот вопрос, я тотчас устыдился: получалось, что я как бы подталкиваю девицу к сожителю с духовным отцом и руководителем. Я притворялся — теперь можно в этом признаться, — будто меня интересуют не взаимоотношения ученицы

и учителя, а его учение. Но учение само по себе представляло, если угодно, зашифрованную теорию антилюбви. Как любовь женщины и мужчины была залогом того, что на земле будут рождаться всё новые и новые поколения, так любовь к отцам давала новый смысл сексуальности: она обращала её вспять. Я понимаю, что выражаюсь туманно.

В те дни над нашим краем, над невозделанными нивами и всё еще не вырубленными лесами, над плоской чашей, на дне которой копошилась жизнь, ползли игрушечные трамваи, кренились книзу дома, текла и пропадала за горизонтом река и доживала свои столетия руина монастыря, песчаная крепость несовершеннолетних богов, — в те дни совершались события, чье грозное космическое величие не иссякало от того, что они повторялись из года в год, из века в век. Холодный фронт теснил область высокого давления, которая смещалась к востоку, фланги этого наступления простирались на севере до сказочных варяжских утесов, на юге — до астраханских степей; обманный маневр, который должен был, согласно искусному стратегическому плану, создать впечатление, будто на центральном участке фронта наступило затишье, удался. Солнце палило вовсю. И тогда в назначенный срок, с точностью до минуты, рванул грозовой ветер с Атлантики, он гнал перед собой танковые колонны кучевых облаков; птицы кружили низко над темнеющей рекой, словно несли на крыльях несчастье: вся гигантская толща атмосферы всколыхнулась, и оборона дрогнула. Затрещали деревья. Громыкнуло так, что сотряслись древние стены монастыря. Рухнула луковица шатровой церкви. Потоп дождя низвергся на крыши обреченного города, на опустевшие улицы, на поблескивающие трамвайные пути и спустя несколько мгновений превратился в град. Свинцовые воды реки вскипели. Тяжелый полог туч заслонил горизонт; бомбардировка закрепила стратегический успех. Никто не знал, что случилось с птицами; как и люди, они затаились в своих убежищах, иные были убиты. В канавах лежали обломки снарядов, ледяная шрапнель. На другой день моросил осенний дождик, запоздалый рассвет превратился в сумрачный вечер, комендантский час погоды; новых распоряжений не поступило, никому не было ведомо, что намерены предпринять оккупационные власти; тем временем воздушное пространство очистилось, и над городом засверкал гигантский, живой и дышащий гороскоп небес.

## XII

### *Праздник*

Рискуя быть выслеженным, схваченным, препровожденным куда следует, я направился к Алевтине. Что-то труднообъяснимое происходило в воздухе. В считанные часы переулки успели зарости высокой травой, похожей на осоку. Повсюду блестела и хлюпала под ногами вода. Там и сям потоп оставил песчаные наплывы, похожие на отмели, и дорогу пересекали упавшие столбы. Я думал, что делать дальше. Если бы уговорить Петуха уехать навсегда, она могла бы развестись с ним. Что тогда? Жениться на Алевтине. Я готов был без сожалений начать новую жизнь, забуриться в её доме — почему бы и нет? — днем прибирать комнату, отводить близнецов в детский сад, а ночью скакать на ней, отрабатывать в поте лица свой хлеб. Перекресток неподалеку от её дома, где мы когда-то лихим контрударом обратили в бегство шпану, превратился в болото. Был выходной день. Слышались стоны гармошки. До меня донеслась любимейшая песня тех лет — или это была граммофон?

Она открыла мне, едва я успел постучаться, одетая по-праздничному, запыхавшись, точно в спешке.

«А-а, — проговорила она, — заходи... Заходи, друг милый! Соскучилась я по тебе!»

«У тебя гости?» — сказал я.

«Все свои! А я тебя ждала».

Мы стояли перед дверью, она жарко обняла меня, в полутьме, в светлом платье она выглядела молодо, с блестящими глазами, с высоко стоявшей грудью; в ней было что-то раздражающее, какой-то зуд исходил от неё. Никогда еще, я думаю, она не вызывала во мне такого внезапного желания овладеть ею и причинить ей боль; так расчесывают до крови зудящее место.

«Потом расскажу, — зашептала она, дыша мне в лицо, — ничего не спрашивай... Всё нормально, все помирились... Мы с тобой как были, так и будем. Родный ты мой...»

Из приоткрытой двери слышались шум, нестройное пение, возгласы.

«Да, да, иду, идем! — закричала Алевтина. — Вот... хочу тебе сказать. — Она схватила мою руку и прижала к своей груди. — Чуешь, как сердце бьется? Господи, где сердце-то, — говорила она, водя моей ладонью, — никак остановилось?.. Фу, жарко даже стало...»

Мы стояли, не зная, что делать. Если бы я захотел её увести, она пошла бы за мной куда угодно.

Чем дольше мы жили вместе, тем загадочней казалась мне моя подруга: загадка — если это была загадка — состояла в том, что Алевтина никогда не была тем, чем она казалась. Можно было подумать, что наш союз держался исключительно на плотском вожделении, всё рассказанное мною до сих пор как будто служит этому подтверждением. Можно было подумать, что ради «этого» меня и держали, что я был каким-то чернорабочим любви. Ничего подобного.

На работе, во время смены, в теплом платке, в шинели, с рулонами билетов на груди, Алевтина была существом без пола и возраста. На самом деле она вся с головы до ног была женщиной, во всяком случае, становилась ею с определенного момента, и чем позже был вечер, тем больше она была женщиной, в которой всё, от распущенных волос до маленьких плоских ступней, которые она вытягивала, сидя на краю кровати и шевеля пальцами, говорило об одном и было устремлено к одному, всё было заряжено электричеством, — казалось, стоит только коснуться её сосков, поднимавших рубашку, и посыпятся искры. Но и это только казалось, а на самом деле она жила в своем теле, равнодушная к его сексуальной природе. Она несла своё предназначение, как носят бусы на груди. Она отлично понимала, что значат каждое её движение, каждый видимый или подразумеваемый изгиб, и, уж конечно, не оставалась в неведении относительно ресурсов страсти, которые таились на дне её тела, в темной воронке, в крохотном придатке, который уравнивал её с мужчиной. А с другой стороны, это было знание, как бы не ведающее о себе. Внутри своего опыта она оставалась невинной, как девственница. В сущности, она не нуждалась в половой жизни. По крайней мере могла бы «обойтись». И потому оставалась немым, безвольным объектом любовного насилия и простиралась передо мной, как пашня вожделения. Если я был ей нужен, то, очевидно, потому, что «так было нужно». Так полагалось. Я обязан был регулярно соединяться с ней и выкачивать из неё ресурсы наслаждения. Была ли это любовь? В определенном смысле — да. Алевтина, я думаю, искренне любила меня, потому что так было нужно. Она как будто хотела сказать: ничего не поделаешь, никуда не денешься. Так уж положено, чтобы у женщины был дом и был мужчина. Да и какое там к черту «вожделение», сказала бы она, когда работаешь целыми днями и света белого не видишь.

Однажды я шел следом за ней по переулку, который не мог узнать, в одну из тех, теперь уже далеких ночей. Чем больше я старался её догнать, тем проворней она ухо-

дила от меня и наконец исчезла за домами; в отчаянии я бросился за угол. Мне неловко об этом рассказывать, но не потому, что сон был непристойный, наоборот: он был анти-непристойный. Она стояла на узкой тропинке рядом с канавой, темная на фоне серебряного неба, совершенно нагая и без сосков, с гладким, как у статуи, лоном, без всего, что отличает один пол от другого. И я почувствовал ненависть к этой статуе.

Мы едва успели посторониться, дверь распахнулась, в коридор ворвался граммофон. Голос певицы, звонкий голос разухабистой народной бабуся, выплеснулся, как выплескивают во двор помои: «Валенки, валенки!..» Фигура мужчины загородила проем.

«Петя, вот друг мой пришел... да вы, чай, знакомы».

Как все, она называла его по имени, которое само собой образовалось от фамилии, настоящее же имя, я думаю, никогда не употреблялось. Песня — кто её не помнит? — плыла и колыхалась, как папиросный дым, в дыму был виден пиршественный стол, кровать была вынесена, граммофон с бабусей воздвигнут в углу.

«И-эх... валенки, валенки! Ой да неподшиты стареньки».

Хор подхватил:

«Чтобы к милому ходить, надо валенки подшить!»

Меня усадили. Я подпевал поющим.

Веселье было в полном разгаре или, лучше сказать, разливе. Стол загромождали остатки еды, пирующие частью сидели на своих местах, частью толкались по комнате. Петух усердно подливал мне. Сперва мне показалось, что я ни с кем, кроме него, не знаком. Одного, впрочем, узнал: это был вагоновожатый, в чьем трамвае мы совершили наше свадебное путешествие. Он плясал вприсядку. Еще один человек, по имени Май Феклистов, сидел на другом конце стола и дирижировал двумя вилками.

«Слушай, Петя...» — пробормотал я и тут же забыл, что хотел сказать.

«Валенки!» — закричала Алевтина. Она не могла усидеть и, сорвавшись с места, стуча каблуками, с подскакивающей грудью, понеслась по комнате. Вагоновожатый, с каменным лицом, уставясь в пол, выбивал дробь на одном месте.

«Валенки! У них! И-и-и...»

«Аля, что с тобой, тебе плохо?» — спросил я, когда, задыхаясь, закатив глаза, она упала на стул.

«Это ты во всем виноват», — проговорила она.

«Я? В чем?»

«Сам должен знать».

«Ах, так. Ты с ним снова путаешься, а я виноват. Где он?» — спросил я, заметив, что Петуха нет в комнате.

«Я почем знаю».

Музыка умолкла.

«Ты моей любви не стоишь. Все вы хороши».

«Что ж ты не сказала, что именинница».

«Сам должен знать... Не слушай меня, я пьяная. Ва-аленки! — запела она тонким голосом, подражая бабуся. — Ты порядочный, а я пьяная».

«Петухова! — крикнул кто-то. — За твое здоровье! Сто лет жизни! Дай Бог не последнюю! Горько!..»

«Горько!» — заорали со всех сторон. Алевтина целовалась с Петухом, целовалась со мной, всё происходило как-то само собой, точно мы сидели не в комнате, а плыли по реке на плоту.

К моему удивлению, за столом сидела еще одна знакомая гостья, в платье с вырезом, с бархоткой на шее, в ушах — голубые сережки.

«Говорю тебе, тут все свои, — пробормотала Алевтина. — А ты пей, не обращай внимания».

Старый граммофон тёти Лели очнулся, вознес свою изумрудную трубу, похожую на цветок. Бабий голос всхлипнул: «И-эх!» и пошло-поехало.

«Валенки, валенки, ой да не подшиты, стареньки! Валенки! Чтобы валенки носить...»

«Вот заладила», — буркнула Алевтина.

Я подумал, что меня сюда никто не звал, и стал подниматься.

«Куда? Сиди... Пущай все видят, какой друг у меня степенный, образованный. Закушай. А то впрямь окосеешь. Хватит тут пьяных без тебя».

Муж Алевтины сидел, опустив голову, волосы падали ему на лицо.

«Чтобы валенки носить...»

«И Петю я тоже люблю. Я всех люблю. Друзья вы мои дорогие, подруги милые...»

«Чтобы к милому ходить, надо валенки... Валенки!»

«Да что это за наказание», — сказала она в сердцах, подошла к граммофону и свернула ему шею. Но не успела сесть, как опять раздалось: «Чтобы валенки носить!»

«Леночка!» — воскликнула Алевтина. На пороге стояла девочка в короткой рубашонке и пялила блестящие и сонные глаза.

Петухов мрачно воззрился на ребенка.

«Папка приехал, Леночка», — сказала вкрадчиво Алевтина.

Мне как-то вдруг стало тепло и хорошо. Я не был пьян, точнее, опьянение время от времени обдавало меня теплой волной, чтобы тотчас отхлынуть. Абажур сиял, окруженный туманом. Сладко зевал и тер глаза кулачком ребенок на коленях у Фроси. Я напевал:

«Валенки, валенки...»

И опять, собравшись с силами, поникший цветок распрямился, граммофон рывкнул песню с середины. Певицу было не узнать, теперь это была словно расцветшая поздней молодостью, загадочно-коварная, высокогрудая, пышущая жаром свекольная красавица.

«Валенки, валенки!!! Эх! Неподшиты...»

Я встал, пригладил волосы. В коридоре Фрося преградила мне дорогу. Гости, шатаясь, выходили из комнаты, шаги гремели по ступеням. Там тоже пели «Валенки». Я сказал:

«Можешь ли ты мне объяснить?..»

«Что?» — спросила она.

«Можешь ли ты объяснить, я ничего не понимаю. По каким дням ты мужчина: по четвергам, по пятницам?.. И по каким дням девушка? Это первое... Куда все делись, где Аля? И, наконец, абсолютно непонятное поведение этого прибора. Объясни мне, пожалуйста: чтобы валенки сносить, надо валенки носить, это же чушь собачья!»

«По-моему, там другие слова».

«Хорошо, — возразил я, — пусть другие. Что от этого меняется?»

«И-и! — раздалось из комнаты. — Чтобы... йэх!»

«Идиотка. Ничего другого она петь не в состоянии. И как соседи терпят?»

«Соседей нет, — сказала Фрося. — Они уехали. Не ходите туда...»

«Ты уложила девочку спать?»

«Не надо туда заходить».

«А в чем дело?»

«Они там... вдвоем»

«Не вдвоем, а втроем, даже вчетвером».



«Вдвоем. Не переживайте. Это так надо. К тому же он настолько пьян, что, наверное, уже спит. Пойдемте лучше посидим».

«Ты принарядилась, — сказал я, — никогда не видел тебя такой».

Она дотронулась до сережек.

«Идет мне?»

Мы вернулись в комнату, где, отбивая такт вилками о тарелку, нас приветствовал Май Феклистов: лу-чше ва-лен-ки но-сить, че-ем без ва-ле-нок хо-о-дить. «Валенки!» — заорал, загремел чуть ли не весь дом. Я обхватил свою даму за талию, и мы принялись выделывать па фокстрота. Обойдя таким манером комнату, точно барахтаясь в воде, мы приблизились к граммофону, который качался, как буй; Фрося высвободилась, остановила машину и сняла с диска пластинку. Плот плыл по реке. Май дремал, окунув ноги в воду.

«Вы спросили, кто я такая...»

Она поискала глазами пустой бокал, налила и не спеша выпила. Я пододвинул ей тарелку с ломтиками свиного сала, она положила ломтик на хлеб, откусила: некоторое время мы молчали.

«Вас удивляет, почему я здесь, — проговорила она. — я и сама не знаю... То есть, с другой стороны, ничего странного в этом нет».

«Нет, я не удивлен. Ты пришла ради меня, поговорить со мной? Ты ждала меня?»

«Я? Откуда вы взяли? А впрочем, может быть, вы правы».

«И-эх!»

Кто-то стоял возле граммофона или нам показалось.

«Валенки! Ва...»

Вагоновожатый снял с диска пластинку, поглядел, подумал и шмякнул «бабусю» об пол.

«Не обращайтесь внимания: туда ей и дорога. Выпьем».

«Я же с копыт свалюсь, Фрося...»

«Ничего, подниму».

«Эй, Петухова, — горестно сказал вагоновожатый, — куда же ты...»

Он поплелся прочь, черные обломки валялись на полу. Затем диск завертелся сам собой, из раструба понеслось: «Валенки, валенки!»

•

Мистик сказал бы, что мы приблизились к божеству, буддист — что готовились погрузиться в нирвану. Врач констатировал бы у нас высокий уровень этилового алкоголя в крови, а психолог усмотрел бы в нашем поведении новое подтверждение гипотезы трансперсонального сознания. Под пологом туч нас несла темная, как чернила, река, нас сплотило одиночество зыбких вод, и светлым видением на берегу стоял сонный ребенок. Мы сидели за обезображенным, опустошенным столом, стол — это и был плот, мы сгрудились на плоту; гости вставали и возвращались, явились другие, кто-то пытался надеть на себя гармонь, совал руки в лямки и не мог попасть, нечесанные мужики курили махорку в дверях, вошла Алевтина с блестящим от слез лицом, это были не слезы, а дождь. Завесы дождя преградили нам путь, все жались друг к другу, шарахались, разворачивались, плот вздымался и падал на перекатах, и вдали погромыхивал гром. Голос Али вернул меня к действительности, я всё еще был в состоянии отличать себя от других, собственное одиночество от одиночества всех, но что такое была эта действительность? Явь, от которой я оттолкнулся, была мнимым берегом, а подлинной и окончательной была явь несущейся воды, действительность хаоса и распада. Напрасно она опровергала себя, притворялась бредом и сновиде-

нием: она и вправду была такой, в самом деле была той, за кого себя выдавала, она была безумной, эта действительность, и нужно было не мешкая подкрепиться спиртным, чтобы заглушить чувство ужаса перед этим открытием. Оглушить себя, и тогда почувствуешь себя своим человеком в сумасшедшем доме бытия. Мистик сказал бы, что мы приблизились к постижению шизофренического божества, патриот — что мы потерялись, как малые дети, и нашлись, презрели свой разум, своё жалкое «я», и соединились в народной стихии.

И понемногу кошмар нашей участи рассеялся, река посветлела, горизонт очистился от чернильных туч, заблестела вода, очистились и окрепли голоса, и незаметно мы все, сидящие за столом среди рюмок, стаканов, тарелок с недоеденным винегретом, с ломтиками белого лоснящегося сала, с кружками колбасы, успевшими принять выпуклую форму, мы все, усталые, и бормочущие, и плачущие, и поющие, стали общей душой, и душа эта выговаривала себя, созерцала будущее и вещала о нем. И, ощутив себя в этом расплавленном состоянии, в общем вместительнице, мы испытали то, что может пережить и постигнуть каждый, кому она раскрывает объятия: придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Мы возвратились туда, отколе мы вышли. Мы стали одной семьей, мы были братья, и сестры, и отцы, и дочери, и мужья, и жены друг для друга. Единая душа, мандорла древних икон, золотая византийская вечность, — это она обнимала нас, каждый был её органом и порождением. Ей не нужен был ничей интеллект, она обладала собственным неразумным разумом, слепым зрением, глухим, но безошибочным слухом: она не знала противоречий, не ведала расстояния между злом и добром, между хаосом и порядком; если она говорила о себе «я», то лишь притворялась личностью, мною или тобою; если каждый из нас, как во сне, время от времени вспоминал о своей особости, то это был общий сон, её сон, это она надевала на себя личину мужчины или женщины, раздвигала вход, и входила, и принимала входящего. Испытай эту сладость, говорила она, не рассчитывай, не думай, не соображай: всё давно решено за тебя; ляг ничком на плоту и отдайся течению.

Тут я снова заметил Мая Феклистова, он делал мне знаки, я ответил ему слабым кивком. Фрося коснулась моей руки. «Мне пора в общагу», — сказала она вполголоса. «Он нас зовет». «Он мне надоел. Давайте от него убежим!» «Разве ты живешь в общезжитии?» — спросил я. «Ну да, а где же еще. Наверное, трамваи уже не ходят. Вообще-то, — добавила она, — я в общезжитии скорее числюсь. Но надо время от времени показываться, а то выгонят. Скажут, у тебя есть другое жильё». «В монастыре?» — спросил я. Она пожала плечами. Мы дошли до трамвайных путей и увидели столб с названием остановки. «Сейчас всё узнаем. Налево пойдешь — голову сложишь. Очень приятно. Направо — замуж выйдешь. Тоже неплохо... Вы, наверное, думаете, я его жена?»

Довольно долго мы брели, стараясь держаться ближе к домам, хватаясь за изгородь, чтобы не соскользнуть в грязь. В темноте кашляли собаки. Кончилась улица, вдали над полем стояло голубое сияние. Мигали огни. «Вот так здорово: это что — аэродром? Слушай, Фрося, — мне вдруг стало весело, — у меня идея. Давай с тобой улетим!» «Куда?» «Всё равно. Решим по дороге». «А как же Алевтина?» «А как же Май?» — смеялся я. «Это военный аэродром, — сказала она, — нас не пустят». «Мы попросимся. А потом им всем напишем. Знаешь, что мы им напишем? — Смех разбирал меня. — Мне сверху видно всё, ты так и знай!»

«Мы сбились, — промолвила немного спустя моя спутница, — я хотела короткой дорогой. Надо было взять левей. Может, вернемся?»

«А ты знаешь дорогу назад?»

«Нам надо выйти к реке. Может, вернемся совсем?»

«Зачем?» — спросил я.

«А то она еще Бог знает что подумает».

«Ей не до меня...»

«Очень даже ошибаетесь». Мы шли по широкой грязной дороге, справа тянулись огороды, сияние вдали над полем то разгоралось, то меркло.

Наконец, заблестел бульжник, выбрались на большак. Она сказала:

«Я хотела спросить вас... Вы пьяны или трезвы?»

«Ты это хотела спросить?»

«Вы не ответили».

«Будем считать, что пьян».

«И что, завтра ничего не будете помнить?»

«Ни одного слова не вспомню, Фрося».

«Вы Алевтину любите?»

«Люблю».

«Расскажите, — сказала она, — как у вас бывает».

Я пожал плечами.

«Вы же говорите, что вы пьяны. Я тоже пьяная. Я хочу знать...»

«Как у всех людей».

«У людей бывает по-разному. У некоторых совсем не бывает».

«Об этом не говорят, Фрося...»

«Я пьяная и хочу знать. Ведь вы нормальный мужчина, да?»

«Не знаю. Думаю, что нет».

«Значит, и у вас ничего не бывает».

«Нет, почему же».

«Тогда почему ненормальный?»

«Возможно, я не так выразился. Видишь ли, я незаконный человек и поэтому...»

«Незаконными бывают дети, — возразила она, — вернее, были. До революции».

«А я после революции. Это трудно объяснить, хотя, в общем, вещь довольно обычная. Вот мы с тобой идем, так сказать, гуляем. А я, может быть, и гулять не имею права. Может быть, таким, как я, не положено. С одной стороны, вроде бы ничего особенного, а с другой... Я сам не знаю, что мне положено, а что не положено. Люди думают, что я нормальный человек, а на самом деле...»

«Всё это не то, я не об этом», — сказала она, и дальнейший путь мы продолжали молча.

«Вот вы говорите, что не знаете... — промолвила она наконец. — Я тоже не знаю, кто я такая. Можете себе представить? Я ни мужчина, ни женщина».

«Кто же ты?»

«Хотите, скажу?»

«Конечно, Фрося, ты можешь мне довериться».

«Я девушка».

«Я знаю, что ты девушка».

«Вы меня не поняли. Я девственница. Я с ним уже два года, даже больше... и всё еще девственница. В самом обыкновенном и пошлом смысле девица».

«Да, но... Что ты хочешь этим сказать?»

«А то, что все думают, будто я его жена... или там любовница... и вы тоже так думаете. Да я и сама считаю его своим мужем, я буду с ним до конца, я его не оставлю».

Я спросил:

«Что значит до конца? Что ты имеешь в виду?»

«До самой смерти».

«Мы правильно идем?»

«Откуда я знаю... Он ужасно боится смерти, — сказала она. — Вы даже себе не представляете».

Наш путь во тьме петлял и возвращался, и точно так же петлял, путался и обрывался наш ночной разговор. Она рассказывала мне о мальчишке в черных чулках и ботинках, в костюмчике из черного бархата, с кинжалом на бедре.

«Что это за мальчик?»

«Он говорит, видел его».

«Кузьмич?»

Молчание. Мы старательно обходили лужи.

«Скрипнет дверь, и войдет черный мальчик. Вот такую смерть он себе придумал».

«Впервые слышу, — сказал я. — Он чем-нибудь болен?»

Она усмехнулась: «Ничего вы не понимаете. Я для него тоже мальчик».

Конечно, если быть откровенным, эта мысль и прежде приходила мне в голову; исполненный благоговения перед учителем, я гнал её от себя.

«Притом что... мы живем как муж и жена».

«Как же вы живете?»

«Так и живем. По сеним так и сяк, а в избу никак».

«То есть ты хочешь сказать?..»

«Да, да, всё верно, — раздраженно возразил брат Амвросий, — сам Иисус подал нам пример воздержания. Но я его люблю и не знаю, что плохого в том, что люди любят друг друга. Он же не Иисус. И какое уж там воздержание, если он всё-таки со мной живет! Понимаете?»

«Понимаю», — сказал я, хотя, говоря откровенно, мне было понятно далеко не всё.

«Вы не смотрите на меня, я человек сильный. Я женщина. Я своего добьюсь... Только я вас предупредила, — закричала она, — я пьяная и за свои слова не отвечаю!»

Я хотел взять её под руку. Она с ненавистью оттолкнула меня.

«Не я первая... или не первый... И не я единственная. Да чего там... он и не скрывался». Всё повторилось, мы снова шлепали по грязи, выбрались на мощеную дорогу, впереди светилось тусклое марево. Аэродром оказался рабочим поселком. Какой к черту мог быть аэродром в нашем городе?

### XIII

*Обитель милосердия. — Знакомство с боговдохновенным о. Зуем. —  
Честное соблюдение правил игры как залог добрососедских отношений. —  
Приятное времяпрепровождение в саду.*

Помнится, в моем пропавшем дневнике находился подробный отчет о посещении Дома крестьянина. Так назывались в наших краях ночлежные дома для приезжающих в город деревенских жителей. Дом крестьянина имел то неоспоримое преимущество, что там не требовалась прописка, другими словами, там не спрашивали паспорт; требовалась справка о разрешении отлучиться из колхоза. Сомнительно, чтобы все постояльцы ночлежки были тружениками колхозных полей, и я бы не удивился, если бы оказалось, что никаких тружеников полей в наших краях вообще не осталось, как не осталось древлян или печенегов. Замечу, что и Кузьма Кузьмич Фотиев числился колхозником, следовательно, не имел паспорта и в городе проживал по справке, которую ему регулярно продлевала чья-то небескорыстная рука.

Он вел меня задворками позади каменных торговых рядов прошлого века — от лавок не осталось и следа, под арками сидели бабки с цветами или семечками, мочились пьяные, шныряли подростки; оттуда мы повернули к автовокзалу, на улицу, перерытую по случаю ремонтных работ, которые начались много лет тому назад и продолжаются, надо полагать, по сей день. Улица уперлась в тупик. Кузьмич подал мне руку, я — ему, помогая друг другу, мы перебрались через фановую трубу на дне траншеи, в заборе была выломана доска, мы оказались на пустыре; автовокзал был позади нас. За углом стоял Дом крестьянина. Как и следовало ожидать, это учреждение выглядело менее презентабельно, чем гостиница, где я провел свои первые дни; хотя и сюда попасть было непросто. Над крыльцом висела ржавая вывеска: дом, как положено, был имени кого-то. Кого? Вот этого я уже не помню.

Войдя через сени в коридор, Кузьма Кузьмич постучался в дверь с табличкой «Комендант». Никто не откликнулся, он взглянул свысока на двух путешественников, мужчину и женщину, ожидавших приема; в углу был свален их багаж — узел и деревянный чемодан, на подоконнике была разложена на газете еда, стояла бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой. Мужик, продолжая жевать, молча указал пальцем на дверь подальше. Оттуда доносился стук костяшек. Кузьма Кузьмич приоткрыл дверь. Гром домино и восклицания всколыхнули чинное спокойствие ночлежного дома, послышались скрежет отодвигаемых табуреток, шорох шлепанцев, толстая низкорослая женщина в затрапезе выплыла и расцеловалась с Фотиевым; следом показались еще две или три физиономии. Комната была заставлена железными кроватями. «Вот, — сказал Кузьма Кузьмич, — знакомься...» «Что, к нам?» «Да нет, он уже давно в городе. Зашли тебя проведать». «Родной мой, ты куда-то запропастился; может, чайку выпьем?» «Может, и выпьем, — откликнулся Кузьма Кузьмич. — Сперва хочу показать Моисеичу твои владения». «Чего ж тут показывать, народу у нас сейчас немного. Вот зало... вон там умывальня. А вам чего надо?» — спросила она у ожидающих. Оба поспешно утирали губы, точно их застали на месте преступления.

Дом, однако, был больше, чем казался снаружи; двинулись дальше, комендантша смотрела нам вслед. В конце коридора на дверях было начертано мелом два нуля; от деревянных помостов с дырами, от мокрого пола и исцарапанных стен несло хлоркой. Толкнув вторую дверь, мы оказались в темном помещении, это было тоже что-то вроде сеней или тамбура, соединявшего дом с флигелем.

Кислое зловоние встречало каждого, кто решался сюда заглянуть, подобно надписи над воротами преисподней, подобно воспоминанию об утраченном отечестве; однако я не жалел, что пошел с Фотиевым, каковы бы ни были цели этого путешествия. Одной из них, несомненно, было намерение моего учителя представить меня общественности, имея в виду мой проект вступить в гильдию нищих. Разумеется, я не мог не вспомнить о прискорбном случае на железнодорожной станции; моих мучителей здесь, кажется, не было, но инвалид Жорик, полчеловека на тележке, с лицом, на котором трудно было различить глаза и нос, был тут как тут. Он катался, отталкиваясь утюгами-деревяшками, по проходу между нарами, взад и вперед, с размаху наехал сзади на кого-то, тот упал под общий гогот, поднялся и с бранью набросился на Жорика. Запах тряпья, висевшего на веревке над железной печкой, помещавшейся у входа, несколько умерялся махорочным дымом. Впереди за столом резались в карты, а в углу между окном и нарами совершенно голый человек играл на пианино.

Нас обступили, кто-то сзади запустил руку мне в карман; учитель, обернувшись, бросил: «Он со мной... а ну отзынь». Мы приблизились к играющим. Пахан приветствовал Кузьмича лапидарным матом. Кузьма Кузьмич подошел под благословение; отец Зуй осенил его размашистым крестным знаменем и протянул руку для поцелуя. «А это что за хмырь?» — спросил он, видя, что я не последовал примеру Фотиева,

на что учитель ответствовал неопределенным жестом, приглашающим к снисхождению. «Нехристь», — строго заметил о. Зуй.

Обстоятельства мимолетно свели меня с таинственной и мифической фигурой, с одним из самых знаменитых людей в городе. Отец Зуй был мужчина могучего сложения, плешивый, бровастый, с расплюснутым носом, с усами, росшими из ноздрей; из-под черно-седой бороды, прикрывавшей полуголую грудь, свисал до пупа кованый архиерейский крест. Отец Зуй воздвигся из-за стола, гулко прочистил горло, сплюнул через плечо. Воцарилась тишина. Он оглядел всё общество. Лежавшие на нарах вскочили со своих мест, Жорик поднял с тележки бугристое лицо к пахану.

Подтянув штаны, отец Зуй возвел глаза к закопченному потолку, втянул воздух и проревел древний текст Климента:

«Миром Господу помолимся!»

Тощий, нагой, как Иов, пианист с черной зарослью внизу живота, сотрясаясь, брал мощные аккорды на своем расстроенном инструменте. Все усердно крестились и били поклоны. О. Зуй стащил с себя цепь и помахал тяжелым крестом в воздухе.

«Миром Господу помо-о-олимся. В рот вас всех».

Затем, по окончании торжественной части, игроки освободили место. Кузьма Кузьмич, перешагнув через скамью, сел за стол. Я встал за его спиной. Папаша Зуй стасовал карты, протянул Фотиеву колоду; Фотиев вздохнул. Папаша стасовал еще раз. Кузьма Кузьмич снял. Банкомет сдал карты, прищурился, приподнял свою верхнюю, заглянул в неё и присвистнул; глаза его засверкали. Кузьмич невозмутимо держал святцы веером перед собой. Пианист подбирал что-то одним пальцем: польку Рахманинова. Или рыбку съесть...

«... или на х... сесть!» — рявкнул густым басом чернобородый отец Зуй, шлепнув картой об стол. Кузьмич шлепнул своей.

«Тиририм-пам-пам. Жопой гвозди дергать, норма сто, выдернул сто пятьдесят, премировать лишней пайкой, — бормотал отец Зуй. — Или рыбку съесть, или трим-пам-пам!»

«Или рыбку съесть, или тра-та-та», — отвечал, стребая взятки. Кузьмич.

«Любовь изысканное чувство. Ловить п... ю мух — искусство. Норма сто мух, поймала двести. Стахановка, ети её... премировать премблюдом».

«Или рыбку съесть...»

«Принес?» — спросил отец Зуй.

«Ась?» — сказал Кузьмич.

«Спрашиваю: принес?»

«Может, и принес», — сказал Кузьмич.

«Едрена вошь, — сказал о. Зуй. — Когда старший по званию спрашивает, отвечать по делу, кратко, стоять по стойке смирно».

«Так точно, ваше благородие».

«Когда духовный отец спрашивает, духовному отцу отвечать по всей совести, за лжу Бог накажет».

«Слушаюсь».

«В рот их всех, — резюмировал папаша. — Давай бабки».

Кузьма Кузьмич извлек из-за пазухи приношение, завернутое в тряпицу. Какая-то личность из малолеток подкатилась поглядеть.

«Отзынь, — замахнулся локтем папаша. Он развернул сверток, сопя, пересчитал бумажки. — Где остальные?.. Пес смрадный! — загремел о. Зуй. — Духовного отца объе... ть хочешь?»

Кузьма Кузьмич развел руками.

«Обыщу, — сказал Зуй. — Как Бог свят, сейчас обыщу!»

«Лучше не надо», — сказал Кузьмич.

«Вот то-то!»

«Слушай, дядя, — проговорил Фотиев. — У меня к тебе есть разговор. Твои люди плохо себя ведут... Ты как со мной дальше жить будешь: кузь-кузь или вась-вась?»

Папаша Зуй засопел, выглядывая из-под лохматых бровей, как волк из чащи. Фотиев сказал:

«Моисеич... ты бы сходил, погулял, что ли».

Последующие события мало что прояснили в характере деловых отношений, которые связывали К. К. Фотиева с отцом Зуем. Такого рода детали познаются постепенно, сами собой, что и произошло бы, не случись того, что случилось. Не буду забегать вперед. Для меня по крайней мере было ясно, что наш визит носил предварительный характер, учитель дал мне подышать четверть часа сладкой вонью ночлежки. Выйдя наружу, досадуя сам не знаю на что, я с усилием и наслаждением расправил грудь.

Была прекрасная погода. Небо сияло. Заметив, что народ входит в ворота городского сада, не обращая внимания на кассу, я направился к воротам. Время было уже послеобеденное, я уселся на скамейке рядом с гипсовой статуей вождя, расставив ноги, чтобы не закапать штаны мороженым. В это время мимо меня прошагали две девушки, обе были в одинаковых легких пальто; обе шествовали в уверенном сознании своего тела, бессознательном сознании, если можно так выразиться; я не мог оторвать от них взгляда. Непостижимым образом я чувствовал себя в одно и то же время и восхищенным соглядатаем, и той, за которой подглядывают; я следил то за одной, то за другой и одновременно спиной и ногами, всей кожей, всеми тайными уголками тела ощущал на себе мужской взгляд. Они отошли уже довольно далеко, когда одна из них обернулась, словно хотела подать мне знак. Я смотрел ей вслед, капли мороженого стекали по моим пальцам, как если бы эта летучая улыбка была взглядом самой весны.

## Престол славы. Трактат о нищенстве, милосердии и монашеской жизни.

Достоинно удивления, что некоторые авторитеты всё ещё полагают, будто профессиональный сбор милостыни есть усовершенствованная (или вырожденная) форма некоего самочинного попрошайничества. Близость латинских слов mendicus (нищий) и mendacium (надувательство) могла бы служить наглядным опровержением этого тезиса. Представление о несчастных, которым ничего не остаётся, как вымаливать себе бесплатное пропитание, есть не что иное как романтизация нищеты.

На самом деле никакого золотого века нищенства никогда не существовало: уже на заре человеческой истории нищенство предстаёт как социальный институт. Нищенство вырабатывает собственную систему преемства и подготовки кадров под наблюдением опытных мастеров. Дитя, начавшее собирать милостыню под покровительством старших, научается к двадцати годам взимать налог милосердия с самых чёрствых и равнодушных и собирать обильную жатву даже на истощённых нивах. Легитимация нищенства содержится в словах Спасителя о птицах небесных (Мф. 6:26), немаловажную роль собирателю милостыни отводит и закон Моисея. Ср. псалом хваления Анны в 1-й Книге Царств, 2,8: «Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы даёт им в наследие».

«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Ленин, соч., т. 99, стр.580). «Блаженны нищие...» (Мф. 5:3). Нищенство — не свобода от общества, а социальная функция. Нет и не было общества без нищих — и никогда не будет.

Считается (*Encyclopaedia Britannica*, XXXIV, 720), что нищенство состоит в испрашивании подачек у случайных людей под предлогом мнимого или действительного оскудения. Легко заметить неполноту и даже некорректность такого определения. Прежде всего оно игнорирует фундаментальный факт — общественную полезность просителей. По меньшей мере три обстоятельства оправдывают необходимость института нищих. Демонстрация нищеты, смиренная поза просящего с протянутой ладонью пробуждает в гражданах чувство довольства собой и государственным строем, который не дал им дойти до такого состояния. Искатель милостыни являет собой некий полюс отсчёта, абсолютный нуль благосостояния, рядом с которым любой уровень бедности представляется положительной величиной, нужда выглядит благополучием, голоштанник кажется богачом. Так публичная женщина служит контрастом для самой сомнительной добродетели; это первое.

Во-вторых, нищета и нищенство удовлетворяют психологическую потребность в активном сострадании. Подав просителю, рядовой человек не только возвращает себе столь непрочное сознание собственного благополучия, но и проникается чувством своего высокого нравственного достоинства. В сравнении с нулём монета достоинством в пять копеек — драгоценный дар; бросие пятак нищему, скупец шествует далее, гордый своей щедростью. Вновь напрашивается параллель с особой лёгкого поведения, чья социально-этическая функция — внушать самоуважение порядочным женщинам. Наконец, третий резон нищенства состоит в том, что оно предлагает достойный выход неудачникам всех сортов.

О богатстве, блеске и преуспевании нищих будет сказано ниже, пока же заметим, что традиционные жанры, виды и стилевые направления нищенства. как-то: уличные певцы и просители, убогие и слепцы, сидельцы и стояльцы, странствующие собиратели пожертвований и подаваний, транспортное, жилищное, церковно-папертное, индивидуальное, и театрализованное нищенство известны с незапамятных времён; каждое поколение культивирует наследие веков. Тем самым нищенство выполняет метаисторическую роль цемента цивилизации, нищенство обеспечивает единство человечества. Миссия нищенства совпадает с миссией культуры, более того, нищенство — это и есть культура.

Образ Вечного побиральца в эпосе многих народов заставляет вспомнить бессмертного Агасфера, если не идентичен ему: гипотеза семитического происхождения нищенства находит авторитетных сторонников. Обречённый скитаться из-за проклятья, произнесённого над ним, Вечный Жид становится регулярным объектом христианской ненависти, которая есть не что иное, как проявление христианской любви. Но возвратимся к истории нищенства.

Чрезвычайно высокого уровня искусство выманивания подаваний достигло, как мы знаем, в Средние века. О процветании нищих, *Stabkerle*, как их называют источники, свидетельствует статистика: около 1300 г. в Трире профессионалы ежегодно собирали до 15 тысяч гульденов при общем количестве нищих около 2 тыс. На аугсбургской деревянной гравюре 1477 г. кавалькаде вельмож, въезжающих в городские ворота, преграждают путь три просителя: слепец, профессиональный страждущий и обладатель костылей. Уличный промысел сравнивается с трудом земледельца. Выражения типа «урожай милосердия» можно встретить уже в диалогах Хротсвиты из Гандерсгейма (X в.).

Анонимный автор учебного пособия, известного под названием *Codex mendarius* (XIII век), излагает важные сведения по физиогномике и жестикуляции. Последнюю можно назвать пластикой сбора подаяний. Так, мы узнаём о том, что просящему ни в коем случае не следует вызывать к себе презрительное снисхождение, оскорбительную жалость. Напротив, он должен улыбаться; рука должна быть согнута в локте, а не протянута во всю длину. Сдержанный жест, исполненная достоинства мина полу-



голового нищего, которому св. Мартин бросает свой плащ (на известных изображениях святого), иллюстрируют это правило. Исполнение оптимистически окрашенных куплетов служит художественным обрамлением промысла. Автор кодекса предостерегает против агрессивного вымогания милостыни (очевидно, распространённого в его время), практики шантажирования муками ада и т.п.

Утрехтское уложение о нищенстве, старейший из дошедших до нас регламентов этого рода, устанавливает правила эксплуатации хлебобродных угодий: десант добытчиков высаживается на ярмарочной площади. Вместе с тем растущий престиж этой профессии привёл к опасной инфляции, обесценив в большой мере ценностные установки нищенства, — процесс, который можно сопоставить с моральной деградацией монастырей. В 30-тысячном Страсбурге в 1530 году было 23 тысячи вымогателей подаяний. Это заставило некоторые города ввести квоту на нищенство. В ряде мест просителям вменялось в обязанность носить особые знаки своей профессии, нечто вроде регалий нищенства. Известны случаи награждения заслуженных нищих специальными титулами, символическими почётными веригами и т.п., а также возведения нищих в рыцарское достоинство. (Это приближает профессиональное нищенство к рыцарским монашеским орденам с их обетами бедности и т.п.). В правление кардинала Мазарини в Париже была выпущена генеалогическая книга родовитых нищих. В Испании, на конкурсе попрошайек, во время которого нищие состязались в ловле монет зубами, победитель проехал по улицам Кордовы в колеснице. В середине шестнадцатого столетия 82-летний нищий в городе Оснабрюк был избран бургомистром. А на другом конце Европы московский самодержец, в рубище и колпаке, с протянутой рукой обходил бояр.

Таким образом, уже в те далёкие времена два широко распространённых предубеждения подверглись решительному пересмотру: убеждение, будто нищенство есть некоторое исключение, неправильный, ненормальный образ жизни, и представление о нищете нищих. История свидетельствует о непрерывном обогащении нищих. Полагают, что этот процесс шёл рука об руку с обнищанием богатых; но лишь до определённой степени. Не следует забывать о том, что нищие являются консервативным классом, жизненно заинтересованным в сохранении социального и политического status quo. Нищие — опора трона, алтаря, гарант социального мира и всякого законного порядка. В годы общественных потрясений, войн, разрухи и упразднения собственности, пресловутой экспроприации экспроприаторов, количество просящих возрастает в арифметической прогрессии, а сумма сборов падает в геометрической прогрессии. Некому подавать! Вот почему революция — злейший враг нищего. Нищий страдает от революции ещё больше, чем богатый; нищий — первая жертва революции. Это вытекает из противоположности между нищенством и нищетой, и обнищание нищих, возврат к примитивному попрошайничеству, пресловутому золотому веку, — на самом деле знак надвигающегося века смут.

## XIV

*К чему может привести злоупотребление черным кофе. — Идеино-философские основы учения об отцах. — Гостеприимная мать. — Симпозион, или Диалог о любви.*

В рабочем кабинете учителя, в уединенной келье, где много веков назад другой отшельник размышлял о смерти и воскресении и вечной жизни, я побывал единственный раз, да и то ненароком. Не там, где происходили собрания Общества старины, нет, я имею в виду другую, абсолютно секретную комнату. Блуждая в катакомбах,

я попал в коридор, о существовании которого не подозревал; капли воды падали мне на затылок, временами я переступал через пороги, хватался за притолоки, сходя по неровным ступенькам, я чуть не расшиб себе темя. После чего наконец оказался перед дверью и потянул за скобу. Послышался недовольный голос Фотиева; я рассыпался в извинениях. «Чего уж там, — буркнул он, — заходите...»

В зависимости от времени дня, от расположения духа, от того, был ли он мною доволен или сердился, он обращался ко мне то так, то эдак, но какое обращение служило знаком милости, я не понимал. Какая-то напряженность присутствовала в наших отношениях. Порой мне казалось, что я удостоен его дружбы; в другие дни, напротив, и фамильярное «ты», и церемонное «вы» равно служили способом держать меня на расстоянии. Он повернул ко мне голову, не выпуская из рук логарифмическую линейку; на нем была старая кацавейка, хотя в комнатке было тепло благодаря электрической плитке, рдевшей в каменной нише, словно неугасимая лампада. В колбе на керосинке пузырилась и клокотала черная жидкость. Кузьма Кузьмич прикрутил фитиль. Несмотря на бедность, он никогда не экономил на кофе, готовил особенные смеси по собственным рецептам. Я попенял ему, показывая на керосиновую лампу, зачем он портит себе глаза. «Привычка, — возразил он, — великие мысли не требуют яркого света...»

Была ли это ни к чему не обязывающая шутка или он имел в виду так называемый свет разума?

Разглядывая чертеж, прикрепленный к стене (К. К. стоял рядом, подняв лампу), я испытывал то, что не могу назвать иначе, как возбужденным оглушением. Я мало что понял, хотя старался не пропустить ни слова. Нервы мои были напряжены, сердце колотилось, был ли виной этому слишком крепкий кофе или усталость после занятий в библиотеке, не знаю; я боялся показаться идиотом и оттого соображал еще хуже. Я оказался в положении чужестранца, который плохо знает язык и не поспевает за беглой речью, но вынужден делать вид, что понимает все её тонкости. Я кивал головой, следил за пальцем Кузьмы Кузьмича, но видел не линии, круги и знаки планет на стене, а желтый и заскорузлый ноготь, нечистый ноготь человека с полутемной скитальческой биографией; поддакивая учителю, я осмеливался время от времени задавать вопросы и рисковал окончательно себя скомпрометировать.

Знаменитые меморабилии Ксенофонта были написаны, если не ошибаюсь, после смерти Сократа, для чего нужно было обладать превосходной памятью. Или тот, кого называли аттической пчелой, заблаговременно копил свой мед, записывая по свежим следам беседы учителя? В который раз мне приходится оплакивать потерю моих записей. Не так уж много времени протекло с тех пор, как не стало Кузьмы Кузьмича Фотиева, а между тем восстановить его учение во всей полноте — задача, быть может, не менее трудная, чем реконструкция философии Сократа. Постараюсь по крайней мере не исказить досужим домыслом уцелевшее в памяти, подобно тому как исказился образ Сократа, донесенный до нас его учениками.

Так, он объяснял мне значение старинных слов «теку», «течение». Светила не просто перемещаются с места на место, они текут, и для Кеплера, говорившего о душах планет, это было так же очевидно, как для нас очевидно, что река, катя вперед свои волны, остается на всем своем протяжении единым потоком. Так электрон вращается на орбите, любая точка которой есть его местонахождение в любой момент времени. Планеты — это не что иное, как их путь. Он попросил меня обратить внимание на двенадцать знаковых комбинаций, позволяющих переводить систему отношений из одного кода в другой. При всей кажущейся сложности чертежа (это был Гороскоп мира, составленный, по словам Кузьмича, в десятом столетии), в нем нет ничего таинственного, всё понятно: изображен путь Солнца через двенадцать созвездий зодиакального

пояса. Однако рядом с общепринятыми знаками стоят алхимические символы, это второй код, а также аббревиатуры, обозначающие имена апостолов. — третий код. В алхимии Солнце, как известно, отождествляется с золотом; в третьем коде Солнце — это Христос. Евангельские события приравниваются к небесным явлениям, что, вообще говоря, не должно нас удивлять, умудрился же Морозов в Алексеевском равелине расшифровать Откровение Иоанна как астрономический календарь. Вопрос лишь в том, как далеко простирается такое сопоставление. Следует ли его понимать как метафору? Или речь идет о чем-то большем? Палец Фотиева вознесся к низкому потолку. Лицо, снизу освещенное лампой, приняло почти безумное выражение. Где мы? Откуда мы вышли? Куда идем? Сидя друг против друга, мы прихлебываем напиток, черный, как магия, и густой, как смола. Плитка тлеет в каменной нише. Разные коды действительности, три перевода одной и той же истины — вот что представляет собой этот чертеж. Двенадцатибуквенный алфавит астрономии отвечает такому же количеству букв в алфавите истории. Двенадцать блуждающих звезд включают семь планет верхнего, наблюдаемого неба, и пять планет нижнего, ненаблюдаемого. Заходя за горизонт, верхние планеты вступают в парный танец с невидимыми планетами нижнего неба, две остаются без партнера. В этом случае они текут друг подле друга, как это видно на примере Вельсунгов — планет-близнецов. Важно отметить, что Гороскоп мира учитывает конstellации планет обоих небес. Переходя к истории, к третьему алфавиту, мы обнаруживаем количество букв, не только равное числу апостолов (соответствующее числу колен Израилевых), но и числу исторически значимых племен и народов. Существуют вечерние народы, существуют народы полдня, наконец, существуют утренние, восходящие народы, таков еще один смысл этого чертежа. Теперь, сказал Фотиев, посмотрим, где у нас тут Россия.

Споры учителя с Маем Феклистовым позволили мне еще глубже проникнуть в смысл идеи возвращения отцов, нового слова, которое Россия, по убеждению учителя, призвана сказать миру, и грандиозного общего дела, которое она возглавит. Что, однако, едва ли был способен осознать оппонент Кузьмы Кузьмича. О Феклистова здесь уже упоминалось. Появился как-то раз человек не первой молодости, но и не старый, близко к сорока; аккуратно одетый, с длинными бесцветными волосами, несколько испитого, пожалуй, даже скопческого вида, больше похожий на семинариста, чем на преподавателя общественно-политических дисциплин. Появился невзначай, мимоходом, но потом зачастил в монастырь — думаю, не столько ради удовольствия пикироваться с Кузьмичом, сколько из-за Фроси, ради возможности видеться с ней вне стен педагогического техникума. Собственно, она его и привела; и то, что этот Феклистов был не только преподаватель, но и жених, так сказать, претендент на её руку, тоже довольно скоро перестало быть тайной.

Жених? Что еще за жених? На мои вопросы брат Амвросий пожимал плечами, словно сам недоумевал, из чего, однако, не следует, что визиты Мая были ему неприятны. Может быть, тут был особый женский расчет. Правда, едва лишь начинался диспут, как Фрося удалялась.

«Прошлый раз, многоуважаемый Кузьма Кузьмич, — лепетал Феклистов, растерянно глядя ей вслед, — прошлый раз вы говорили...»

«Что я говорил? Ничего я не говорил».

«Нет, вы утверждали...»

«Ничего я не утверждал».

«Вы забыли».

«Дорогой мой, до сих пор я как-то не замечал за собой провалов памяти».

«Я вам напомним. Прошлый раз вы сказали, что...»

Тут, конечно, сразу может возникнуть мысль (и возникала), не стучал ли он на нас. Не с этим ли заданием втерся в доверие, не говоря уже о том, что был избран в члены Общества. Думаю, что такое подозрение нужно отвергнуть. Последующее подтвердило то, что и без того было очевидно: полемический пыл Мая Феклистова подогревался ревностью. Май надеялся блеснуть перед Фросей своим умом, эрудицией или уж не знаю чем; попросту говоря, он хотел отбить Фросю у Кузьмича. Хотя, как уже сказано, единственным слушателем этих словопрений был я.

Чтобы покончить с зыбкой темой осведомительства, добавлю, что, во-первых, Май отстаивал ортодоксальную точку зрения, тогда как провокатор, напротив, поддерживает и подогревает ересь. А во-вторых, наш учитель защищался весьма умело. Никаких рискованных слов не произносилось, более того, решительно отметалось всякое подозрение в симпатиях к враждебному нам мировоззрению. И уж само собой разумеется, никогда не упоминалось о Гороскопе мира, о Христе и всех этих делах. Кузьма Кузьмич предпочитал вести военные действия на территории противника.

«Опять он за своё. Вы же учите молодежь диалектике. А что говорит диалектика? Диалектика говорит: всякое утверждение...»

«Нет, давайте уж по порядку».

«Давайте», — сказал Фотиев, глядя на Мая Феклистова, как полководец обзирает в бинокль расположение вражеских войск. Но вместо ожидаемой атаки Май встал и прошелся по комнате, посматривая в окно.

«Кстати, — промолвил он, — не знаете, чем кончилось вчерашнее заседание в горисполкоме?»

«Об этом должно быть в газете».

Я вмешался в разговор, заметив, что горисполком не уполномочен решать такие вопросы; это дело горкома.

«Или даже обкома», — сказал Фотиев.

«То есть?»

«Спущена установка».

«В каком смысле?»

«Вопрос о сносе монастыря снят с повестки дня. Признано нецелесообразным Памятник архитектуры и народное достояние. Мало, что ли, дров наломали? Между прочим, — добавил едко Кузьма Кузьмич, — ваши единомышленники».

Май предпочел пропустить эту колкость мимо ушей и пробормотал что-то в том смысле, что он «искренне рад».

«Вы-то? Сомневаюсь. Ведь вы тоже небось считаете меня идеалистом, реакционером или как там это у вас называется».

«Я считаю, — сказал Май, — что вы скатываетесь на идеалистические позиции».

«Дорогой мой, процесс собирания рассеянных частиц...»

«Ах, бросьте».

«Позвольте вам, однако, напомнить, что гниение отнюдь не сверхъестественное явление и рассеяние атомов не может распространяться за пределы конечного пространства. Позвольте напомнить, — сказал Кузьмич, начиная раздражаться, — что организм есть машина, да, очень сложная, можете мне не объяснять, но всё-таки машина, и сознание есть то, что она вырабатывает. Соберите организм — и сознание вернется к нему!»

«А вот уже вульгарный материализм, давно опровергнутый Энгельсом. Крайности сходятся!»

«Не пытайтесь поймать меня на слове, вы имеете в виду сравнение мозга с печенью, дескать, мозг вырабатывает мысль, как печень — желчь; но вы же прекрасно понимаете, что это не более чем сравнение. Если угодно, я приведу другое. Где-то я читал, что в Ленинграде спасли картину Рембрандта, совершенно сгнившую, — зна-

ете, что они сделали? Перенесли живопись на другой холст. Или еще проще: возьмем какую-нибудь великую поэму, Гомера, например. Сам по себе текст есть нечто нематериальное, но существует он на материальном субстрате: сегодня на восковых дощечках, завтра на пергаменте, на каком-нибудь там свитке и так далее. Пергамент можно сжечь, бумагу порвать, но от этого, согласитесь, «Илиада» не перестанет быть «Илиадой». Представьте себе, что вы собираете по кусочкам разорванный лист. То же можно сказать об индивидуальном сознании».

«А вот это уже дуализм!»

«Послушайте... я не договорил».

«Нет, лучше вы послушайте. Вы протаскиваете реакционную идейку бессмертия души».

«Во-первых, почему реакционную, а во-вторых, какая тут идейка, что это за жаргон? Что вы называете идейкой? Не станете же вы отрицать, что душа, сознание, психика, субъект, называйте как хотите, — порождение материи».

«Бытие определяет сознание», — изрек Май Феклистов.

«Правильно; а я что говорю? Я говорю: создайте соответствующие материальные условия, восстановите констелляцию молекул, и вы сможете восстановить утраченную потенциальную энергию субъекта. Сознание — это энергия. Где же тут идеализм?»

«Не энергия, а вид движения материи».

«Допустим; и что же?»

«А то, что вы отрицаете будущее. Отрицаете прогресс».

«Я? — удивился Фотиев. — Как же я могу отрицать прогресс, ежели я все свои надежды возлагаю на успехи науки. Я верю в науку, дорогой и высокочтимый Май, или Октябрь, или как вас там... И я знаю, что в конце концов, что бы там ни было, наука победит смерть. Заметьте еще одно, драгоценнейший. И вы, и я, мы сходимся в самом важном. Мы оба верим в великое братство будущего. И мы оба знаем, что эту великую миссию призвана выполнить наша страна».

Таковы были эти прения, в которых я хоть и не участвовал, но всецело — нужно ли говорить об этом? — был на стороне моего наставника и, зная, что Май мухи не обидит, всё же не мог не заметить, как передергивалось длинное скопческое лицо «драгоценнейшего» и «дражайшего» оппонента всякий раз, когда Май слышал эти эпитеты.

По дороге мы перебрасывались незначущими словами; оказалось, что Май живет в Заречье, чуть ли не в двух шагах от Алевтины и тёти Лели. Признаться, я был несколько удивлен его приглашением, сделанным как бы невзначай. Дескать, раз уж нам по пути, зайдём и выпьем чайку. По русскому обычаю чаем дело не ограничилось. Мамаша встретила нас так, словно мой визит был для неё приятнейшей неожиданностью, однако стол был уже накрыт, тарелки, фужеры, бутылка портвейна, в центре стола — блюдо с жареными молоками трески. Откуда в наш город, за тысячу верст от всех морей, могли завезти эти молоки?

И всё поехало само собой, известного рода этикет в наших местах соблюдается так же неукоснительно, как на дипломатическом приеме. Этикет предписывал ритуальное смущение, топтание на пороге, восхищение квартирой, преувеличенную суетливость хозяйки. Май озабоченно оглядывал стол. «Чем же ты гостя-то собираешься потчевать?» «Маюша, да ведь я не знаю, — возразила она, — может, они не употребляют? Вот красное...» «Мойсеич, ты как?» — спросил Май, переходя на ты. Я пожал плечами. Май побежал за рабоче-крестьянской.

Мать Мая Феклистова была грузная усатая женщина со страшным лицом. Когда она ходила, скрипели половицы. Она отдернула пеструю занавеску, заменявшую дверь в соседнюю комнатку, там находился рабочий кабинет: кровать, письменный

стол, алебастровый бюстик, на полке сочинения классиков единственно правильного учения. Между столом и кроватью стоял деревянный конь на колесиках. Май писал диссертацию об антагонистических и неантагонистических противоречиях. В большой комнате, между окнами, в общей рамке за стеклом, как принято, висели семейные фотографии. Родители Мая головами друг к другу. Мать, молодая и высокогрудая, с накрашенными губами, отчего они казались черными, с массивной брошкой в вырезе платья, в шестимесячной завивке, и отец, худосочный человек в пиджаке и при галстук; оттопыренные уши, жидкие волнистые волосы и впалые виски, как у Мая. На другой фотографии Май, в коротких штанишках и белых чулках, на деревянном коне, рядом со старшим братом. Брат убит на фронте.

«Ваш муж жив?»

«Точно неизвестно. Я почему-то уверена, что жив».

Она пояснила, что времена теперь переменялись, партия осудила культ личности, и происходит восстановление ленинских норм. Люди возвращаются, даже те, о которых двадцать лет ничего не было слышно. Должно быть, все эти годы фотография лежала где-нибудь на дне сундука.

Еще одна полусвернувшаяся фотокарточка была воткнута в уголке рамы поверх стекла, я расправил её: Фрося. Перед кустами, может быть, за городом. В летнем коротком платье, тонконогая, в белых носках и босоножках, она стояла, держа за рога велосипед, приоткрыв губы, как будто хотела сказать фотографу, что он напрасно тратит время. Я перевел взгляд на мать Феклистова. Она сокрушенно кивнула головой. Карточка выпала из рамы. Я поднял её. Брат Амвросий стоял с велосипедом, но теперь его губы были плотно сжаты. Мать положила фотографию на подоконник. Стукнула дверь в сенях.

«А вот и я!» — возвестил Май.

Из буфета были вынуты стопки, задвигались стулья, он сорвал с бутылки крышечку и стал разливать, не дожидаясь, когда все рассядутся.

«Мне самую чутельку».

«За компанию, мать, — строго сказал Май. Мы сели. — Ну-с... за что пьем?»

«За твою диссертацию, — сказал я. — За антагонистические и неантагонистические противоречия! Ваше здоровье».

«И за ваше тоже... Фу, гадость какая».

«На, мать, понюхай хлеба. Заешь винегретом».

«А кстати, — спросил я, — что это такое?»

«Что вы имеете в виду?» — спросила она.

«Антагонистические противоречия».

Май усмотрел в этом вопросе насмешку и буркнул: «Не знаешь, что ли? Небось ведь учил диамат».

«Мне Маюша рассказывал, вы знаток истории нашего города. Вы, наверное, окончили университет?»

«Да нет. Куда там».

Явились котлеты. Мать Мая Феклистова подняла фужер с портвейном и со вздохом произнесла, глядя на сына страшным взглядом:

«А теперь, Маюша, я хочу выпить за то, чтобы ты был счастлив».

Май осведомился, ковыряя вилкой в тарелке:

«Это как понимать?»

«Ты сам знаешь. Мать тебе плохого не желает. Только добра!»

Май искусственно захохотал, налил по второй, выпил и вышел из-за стола. Мать испуганно следила за ним. Он нырнул в кабинет, оттуда послышалось: «Н-но!», и Май выехал из-за ситцевой занавески верхом на коне, помогая себе ногами. Он проехал вокруг стола, погоняя лошадь, и вернулся в кабинет.

«Вот, например, противоречие, — раздался оттуда его голос, — между производительными силами и производственными отношениями при капитализме. Это противоречие антагонистическое. Оно ведет к взрыву. А в социалистическом обществе...»

Из рамы, за поблескивающим стеклом, на нас взирали бесследно исчезнувший отец и молодая мать со страшным лицом.

«Кушайте».

«Очень вкусные котлеты».

«Это из телятины».

«Ваше здоровье».

«И за ваше. Кушайте... Я считаю вас другом своего сына. Он защитит диссертацию. Он один из лучших преподавателей училища. Он будет доцентом, профессором, я ни минуты не сомневаюсь. Объясните ему. Повлияйте на него...»

В неловком молчании мы сидели за столом, Май накалывал вилкой зеленый горошек, мать вертела в руках фужер с портвейном.

«Как подумаю, — сказала она, — в какой он компании оказался!»

«Компания одно, а она совсем другое!»

«Не знаю, не знаю...»

«А не знаешь, так не говори».

«Она его любовница, — в сердцах сказала мать и стукнула вилкой об стол. — И ты еще будешь после этого со мной спорить!»

Май криво усмехнулся. «Ты-то откуда знаешь?»

«Знаю. Все знают».

Она поднялась, взяла с окна фотографию.

«Дай сюда, — сказал Май. — Отдай сейчас же!»

«Это ты так с матерью разговариваешь?»

«Не сердитесь на него, — сказал я, — он немножко перебрал, это бывает».

«Кто, я перебрал? У меня, если хочешь знать, ни в одном глазу! Я... я вас всех насквозь вижу. Всю вашу шайку-лейку... Отдай фотографию».

«Столько хороших девушек вокруг. — Она разглядывала Фросю. — У них на кафедре есть преподавательница. Ты знаешь, Маюша, о ком я говорю».

«Отдай фотографию!»

«По лицу видно, что за птичка...»

Май перегнулся через стол, задел фужер с портвейном, мать вскрикнула. Май воспользовался этим, чтобы выхватить из её рук карточку, но она крепко держала её двумя пальцами. Началась борьба. Мать швырнула обрывок фотографии в лужу на скатерти и залилась слезами.

В эту минуту произошло то, чего никто из нас не ожидал. Даже теперь, когда всё выстраивается в какое-то подобие порядка, скорее всего воображаемого, я с трудом могу подыскать объяснение этому визиту; подозреваю, что сама Фрося не знала толком, зачем пришла. Ибо это была она.

На дворе лил дождь. Она стояла на пороге сумрачной комнаты в почерневшем от влаги непромокаемом плаще, слишком просторном для неё, с мокрыми прядями, которые она пыталась пригладить.

«Ты?!» — пролепетал Май. Он встал и включил свет.

«Заходите, барышня, — промолвила мать Мая ледяным голосом, — раз уж пришли. Раздевайтесь».

Она пробормотала:

«У меня ноги грязные».

«А вы снимите туфли».

«Я вас искала, — сказала Фрося, присев рядом со мной на краешек стула и поджимая ноги в промокших чулках, — мне надо с вами поговорить».

«Со мной? Что случилось?»

«Мать, — Май метался по комнате, — ты бы дала чего-нибудь теплого надеть, кофту какую-нибудь...»

«Спасибо, не надо. Извините».

«Что случилось, Фрося?» — спросил я снова.

«Ничего не случилось... Я хотела поговорить».

«Вот и прекрасно, — сказала мать Мая. — Вот сейчас и поговорим. Раз уж вы нас удостоили».

«Перестань, мать. Может, водочки выпьешь, Фрося?»

Она кивнула.

«Ты откуда? — спросил я. — Из монастыря?»

Она снова кивнула.

«Вот я хотела у вас спросить, девушка... Кушайте».

«Мать!»

«Котлетки остыли, может, разогреть?»

Гостья беспомощно озиралась.

«Май Александрович, — сказала она. — Вы извините, Май Александрович, я лучше пойду».

«Что вы, что вы, — закричала мать Мая, — мы вас не отпустим. Кушайте, вот, может, портвейну... или вы больше к водочке привыкли?»

Фрося подняла на неё глаза, полные ненависти, и промолвила:

«Так точно. Я только водку и пью».

«Девушка, что же вы так? Я ведь вас не хотела обидеть. Люди вы молодые, откуда мне знать... Я в ваши дела не встречаю».

«Нет у нас никаких дел».

«Ну, нет и нет. Вы меня поймите. Я ведь ему не чужая».

«Лучше давайте выпьем», — сказал Май.

С рюмкой в руке Фрося смотрела на обрывок фотографии: белое платье, босножки и колеса велосипеда.

«С этими мужчинами, — бормотала мать, — хлопот не оберешься, ишь какой свинарник устроили...» Она постелила поверх винного пятна салфетку, собрала грязную посуду, фотография исчезла в кармашке её платья. Она огляделась, ища вторую половинку.

«Маюша, принеси поднос. Помоги мне...»

Мы остались одни в комнате и молча смотрели друг на друга.

Мать Мая явилась из кухни с чашками и блюдами, следом шел Май, неся нарезанный горкой сладкий пирог. Затем на столе воздвигся электрический самовар.

Фрося сидела за столом в черном платье, волосы её высохли, изредка она взглядывала на Мая своими пустыми глазами, Май отвечал ей восторженным взором, свет горел в комнате, чай сиял в синих чашках, блестел самовар, и отсвечивало стекло в рамке с фотографиями.

Мать вдумчиво ела пирог, разглядывала начинку. Стряхнув крошки с губ, она сказала:

«Не буду скрывать, да и вы сами, чай, догадались».

«Легка на помине!» — весело сказал Май.

«Не буду скрывать. Мы говорили о вас».

Фрося посмотрела на неё и кивнула.

«Не пропечен, — сказала мать. — Надо было еще хотя бы десять минут подержать».



Я поспешил заверить её, что пирог превосходен.

Она шумно вздохнула.

«Я вам хочу сказать, Фросенька... вас ведь Фрося зовут? Вот теперь наконец мы познакомились, я хочу наконец... понимаете, я мать. Я мать!»

«Да, — сказала Фрося спокойно. — Вы хотите спросить, в каких я отношениях с ...»

«Боже упаси! Я в вашу личную жизнь не вмешиваюсь».

«Но ведь вы хотите знать, не правда ли?»

Мать Мая тяжело всколыхнулась и устремила на Фросю страшный и умоляющий взгляд.

«Попробуйте мой пирог», — пролепетала она.

«Фотиев — бедный, обездоленный человек. И я считаю своим долгом помогать ему, — проговорила Фрося. — Как могу».

«Конечно, конечно. Но, знаете... Это, конечно, не моё дело. Почему он не работает?»

«Он работает. Он ведет большую общественную работу. Он председатель Общества по охране памятников старины».

«Что? Господи, какого общества? Это там, среди этих развалин?..»

Я осторожно заметил, что монастырь представляет собой ценный архитектурный комплекс. Мать Мая презрительно покосилась в мою сторону; я постепенно терял её доверие.

«Общество или что там у вас, меня не касается. Но я не понимаю, как это можно: быть председателем и в то же время, извините ... сидеть с шапкой ... я просто не понимаю!»

«Тунядец», — сказал Май.

Фрося быстро взглянула на него, он смутился, пожал плечами и начал мешать чай ложечкой.

Я проговорил:

«Кузьма Кузьмич ведет научную работу...»

При этих словах Май вдруг поднял голову.

«А ты, Моисеич, молчи. Он ведь и к тебе подкатывался».

«Что значит — подкатывался?» — спросил я.

«Что значит... — сказал Май зловеще. Ноздри его раздувались, и глаза тлели желтым огнем. — А вот то и значит; сейчас тебе объясню, что это значит. Мать! Дай водки».

«Маюша... что это вдруг?»

«Принеси водки, говорят тебе... Вот тут мамаша интересовалась насчет отношений, — заговорил он, наливая себе полную рюмку, — она думает, что ты... что вы с ним... ну, в общем, пора сказать правду!»

«Какую правду?» — прошептала Фрося в ужасе. Май Феклистов опрокинул рюмку в рот, поискал глазами на столе, мать совала ему кусок пирога, он отталкивал её руку, она снова протягивала, и вдруг Май громко всхлипнул. И казалось, что он заплакался оттого, что не нашлось чем закусить.

«Маюша...»

«Отстань! — крикнул он. — Со своим пирогом... Я уж не говорю, какие идеи, какой... смрад распространяет этот Фотиев, я об этом не говорю... Я думал, ты всё знаешь... а ты ничего не знаешь... ты тоже какой-то блажен-ненький. Тем лучше. Так вот!..»

Он умолк, уставился в тарелку, потом утер глаза кулаком и жадно откусил кусок пирога. Буря прошла, мы оба, я и мать, растерянно смотрели на Мая; я покосился на Фросю: она напряженно думала о чем-то, покусывая губы.

Май прожевал пирог.

«В конце концов я как педагог обязан вырвать тебя из этой среды. Ты даже не понимаешь, с кем ты связалась! Этот ваш пророк... он ведь не только проповедник самой реакционной мистики, чуждых, враждебных взглядов! Ты, юная, неопытная... и этот педераст! Да, — сказал он с торжеством, — а ты об этом не знала? Он извращенец, с мужчинами, с продажными гнилозубыми мальчишками...»

Он не успел договорить, как мать, грузная женщина со страшным звериным лицом, величественно поднялась и сказала, что теперь ей всё ясно.

«Вы можете сидеть, барышня».

«Ты куда?»

«Куда надо», — отвечала она.

«Мать, постой, куда ты...» — растерянно сказал Май.

«Я иду в милицию».

«Не делайте этого», — сказал я.

«Вот как? — сказала она надменно. — Вы его покрываете».

«Мать, подожди, нельзя же так... Мы должны всё обсудить».

«Нет! — сказала она. — Не в милицию. Я знаю, куда надо идти. Там разберутся!»

«Ты что, рехнулась, что ли? Ты куда собралась?»

«Они разберутся. Слава Богу, времена теперь переменялись, теперь в органах сидят совсем другие люди... Это же надо, это надо только! — говорила она, сжимая руки и расхаживая по комнате, так что тряслись половицы. Через минуту она красила губы перед зеркалом и торопливо всовывала руки в пальто. — Зонт, зонт дай мне, где зонт?» Май говорил ей, что уже поздно. Она возразила, что там работают круглые сутки. Да, но приемная закрыта, говорил Май. Ничего, отвечала она, я попрошу, чтобы дежурный связал меня с начальником.

«Фрося!» — пролепетал Май, но Фроси уже след простыл.

## XV

*Подготовка к юбилею. — Карьера о. Зуя. — Неожиданные известия. —  
Информация, полученная тетей Делей. — Родословная Ивана Игнатьевича  
и позднее раскаяние коадьютора.*

Происшествие, которое должно было потрясти город, а на самом деле мало кого потрясло, оказалось за пределами моего поля зрения. Ужаснуло ли оно меня самого? Еще бы... Но его истинный смысл дошел до меня много позже. Оно представлялось мне скорее событием криминальной хроники. Жизнь в захолустье приучила нас к мысли о том, что мы обретаемся за тридевять земель от мировых событий, от тех мест, где грохочут воды и вращаются роторы турбин, и вырабатывается смертоносная энергия истории: кто мог подумать, что история вершится у нас под носом? Жизнь шла своим чередом, по утрам за заборами кукарекали петухи, лето пылало вовсю, и ничего такого не предвиделось, и ветер вздымал клубы пыли.

Приходится согласиться с тем, что историческое событие принадлежит к числу самых неуловимых явлений истории. Никто так мало не знает о своем времени, как те, кто в нем живет.

Приблизительно в эти дни, разыскивая Кузьмича, я встретил в монастыре кроткого, всегда приветливого Ивана Игнатьевича и узнал от него вдохновляющую новость. Начальство, или, как принято было говорить, руководство, — никто его никогда не видел, если не говорить о портретах, канонических изображениях, вывешиваемых в праздничные дни, всегда одинаковых, словно это был один размножившийся человек,

и даже когда состав руководства менялся, никто этого не замечал, и о нем было известно только то, что существует и печется обо всем и обо всех, и это сознание осеняло народ нашего города, как свет из невидимого источника, — начальство одобрило инициативу рабочих фабрики по производству столярного клея. Фабрика числилась передовым предприятием нашего города, и полагалось, чтобы передовое предприятие выступило с инициативой, а кто-нибудь другой должен был эту инициативу подхватывать.

Незачем объяснять, что означали эти слова: инициатива, соревнование и т. п., так как они ничего не означали. И в этом заключалось их огромное положительное значение, ведь было бы гораздо хуже, если бы они что-нибудь означали. Инициатива фабрики клея называлась так: «Встретим юбилей нашего города новыми трудовыми успехами».

— Вы ведь не хуже меня знаете, — сказал Иван Игнатъевич, — какую роль в народном хозяйстве играет столярный клей.

«Да, но... какое отношение он имеет к...»

«Как какое? — хитро ухмыляясь, возразил мой собеседник. — Может быть, город по случаю юбилея получит орден!»

Выяснилось, что дело не в самой инициативе, а в том, по какому поводу она объявлена. По своему обыкновению начальство выражало свои пожелания косвенно. Хотя окончательно еще не было решено, сколько лет исполняется городу, но само упоминание о юбилее означало, что руководство придает ему важное значение и ожидает соответствующих мероприятий. Иван Игнатъевич поднял палец. «Сами понимаете, — добавил он, — как важно, что на областной юбилейной сессии город будет представлен нашим земляком, видным ученым, который не собирается предпочесть карьеру в столицах скромному и самоотверженному служению родному краю». Из всего этого разговора я по крайней мере понял причину отсутствия Кузьмича: он поехал на сессию. Оказалось также, что он намерен представить в своем докладе некоторые новые данные. Мы стояли посреди двора. Брат Амвросий, занятый хозяйственными делами, не имел времени со мной разговаривать и, молча кивнув, прошел мимо.

Я спросил: «Что же это за данные?»

«Точно сказать затрудняюсь, — отвечал Иван Игнатъевич, — он мне объяснял, да ведь память, сами знаете, какая. Вроде бы известная вам легенда отражает самые что ни на есть подлинные события. Вроде бы получены неопровержимые доказательства».

«Доказательства чего?»

«Того, что костыль был подан на самом деле».

«Костыль? Ах, да. Но позвольте, ведь это же...»

«Понимаю вашу мысль, вы хотите сказать, что это религиозная легенда. И что начальство насчет этих дел, того... Батенька, — сказал, улыбаясь, Иван Игнатъевич, — время-то изменилось! Никто уже теперь религию не преследует, наоборот даже. Мне говорили даже, — зашептал он, — что сам секретарь горкома ходит в церковь. Хотите верьте, хотите нет!»

Я было возразил, что в городе давно нет в помине никаких церквей, но он перебил меня:

«Есть. Бывший антирелигиозный музей; недавно освятили. Отец Зуй такую проповедь закатил, вы бы только послушали».

«Как это? Какой отец Зуй?»

«Протоиерей».

«Кто же его назначил?»

«Как кто: епархия».

«Вы разве знаете отца Зуя?» — спросил я.

«Помилуйте, — сказал Иван Игнатьевич, — кто ж его не знает».

Однажды, это было очень давно, мне приснился сон: кто-то стучит, я встаю с постели и иду открывать. В коридоре стоит, прислонясь к притолоке, человек, весь в черном, и смотрит мимо меня. Через несколько дней, ночью, за мной пришли. Если бы не было сна, они бы не пришли. Если бы не было ареста, не было бы вещего сна: я бы не вспомнил о нем. Я бы его забыл, как забывается большая часть того, что нам снится. Если бы сны не стирались в памяти, наше знание о действительности было бы иным, может быть, более полным, а быть может, и невыносимым. Быть может, наш собственный мозг щадит нас, охраняя от слишком глубокого, слишком страшного знания. Сейчас мне кажется, что у меня было предчувствие того, что произойдет: оттого, что это произошло, мне кажется, что я это предчувствовал.

Усталый от зноя, я взошел на крыльцо и собирался постучаться в окошко (в эту минуту мне и вспомнился сон), как вдруг дверь отворилась, хозяйка впустила меня, сказав вполголоса: «Ступай наверх, только тихонько». Лестница скрипнула у меня под ногами. Голос из комнаты спросил: «Алена, кто там у тебя?» Знакомый голос.

«Свои, свои, — отозвалась тётя Леля. — Ладно, чего уж там, — сказала она мне, — заходи».

За столом сидел Борис Борисович.

«Н-да...» — проговорил он, и было непонятно, относилось ли это ко мне или он пребывал наедине со своими мыслями. Я поспешно поздоровался. Борис Борисович не ответил, не спеша налил себе водки, выпил. Некоторое время прошло в молчании. Начальник закусывал.

«Борис Борисович, — вкрадчиво сказала тётя Леля. — Он еще не в курсе...»

«Я знаю», — сказал я.

«Откуда ты знаешь?»

Я пожал плечами. В сущности, этого надо было ожидать. Мне стало ясно — давно уже можно было догадаться, — почему так затянулось моё оформление в трамвайном парке. Очень просто: очевидно, они послали запрос в милицию. Правда, повестку срочно явиться в милицию должен был мне вручить курьер, и там уже полагалось расписаться в получении предписания о выезде в 24 часа. Таков был порядок. Уважая старую, хоть и не вполне понятную мне дружбу с тетей Лелей, начальник сам пришел известить её о том, что меня вышибают из города.

«Ну что ж, знает, еще лучше», — промолвил он.

«Кушайте, Борис Борисович...»

«А я что делаю? Ладно, — сказал он, берясь за бутылку, — давай, что ли...»

Ошеломленный, — хотя, повторяю, этого надо было ожидать, — я ждал дальнейших распоряжений, ждал неизбежного удара.

«Чего стоишь?»

Я сел.

Тётя Леля поставила передо мной рюмку, Борис Борисович налил себе, плеснул мне. «Давай и ты», — сказал он тёте Леле.

К моему удивлению, она перекрестилась, чего я никогда за ней не замечал.

«Так, — сказал начальник. — А теперь рассказывай».

Я спросил: «Что рассказывать?»

«Всё, что знаешь».

«Ну...» — Я замялся. Хотел объяснить, что приехал в город, можно сказать, случайно. Забормотал о том, что я не скрывался, сразу же по приезде предъявил паспорт в гостинице.

«Да что ты дуручку-то валяешь! — загремел начальник. — Не скрывался... От нас не скроешься».

Помолчав, побарабанив пальцами по столу, он спросил: «Ты в этих развалинах был?»

«В каких развалинах?»

«Ну, в этом памятнике старины, едри его мать. В монастыре вашем...»

«Когда?»

«Когда, когда... — сказал он раздраженно. — Сегодня был?»

«Не был», — сказал я на всякий случай.

«От кого же ты тогда узнал?»

«Да ни от кого», — сказал я, начиная понимать и в то же время не веря, что дело, возможно, идет не о моем выселении. Ибо суеверие или, что то же самое, мудрость жизни повелевает не доверяться надежде.

«Ни от кого, — проговорил я, — просто сам догадался».

«Догадался. Ишь какой догадливый!»

«Что ж теперь будет, Борис Борисович?» — спросила тётя Леля.

Начальник нахмурил брови.

«Принимаются меры. Петрухин занимается. Идет следствие».

Следствие?.. Я пытаюсь передать этот разговор так, как он происходил. Холодный страх, пронизавший меня, едва только я услышал это слово, заслонил перед мной всё остальное, заслонил действительность. Вернее, обнажил её изнанку, её ненадежность, её коварство. Следствие! Высылка из города была пустяком по сравнению с тем, что стояло за этим словом. Несколько сценариев один за другим пронесли в моей голове: из центра пришло указание; вновь поднято моё старое дело. Обнаружились новые данные в истории с простыней. Я представил себе прибытие какого-нибудь высокого начальства, паспортного контролера, уполномоченного по надзору за соблюдением паспортного режима. Контролер указал местному начальству на некий секретный шифр. Новая разнарядка: изоляция всех, у кого стоит этот шифр в паспорте. Перепроверка документов... Такова была последняя гипотеза, догадка, представшая во всей своей неопровержимости, словно из задней комнаты неожиданно вышел прокаженный, о котором забыли. Словно вышел призрак. Я потерял всякую надежду и вместе с тем осмелел, как человек, которому нечего терять. Упавшим голосом я спросил:

«Вы что-нибудь нашли в документах?»

«Чего?» — рассеянно спросил Борис Борисович.

«Я говорю, вы... что-то обнаружили в паспорте?»

«В каком паспорте?.. Ах, да, — сказал он, — чуть не забыл. Получай».

Он вынул из пиджака мой паспорт, который я с величайшим облегчением сунул в карман. Я ошибся, о, счастье.

«Мафия, — вздохнув, загадочно произнес Борис Борисович. — Вот так, Елена: мафия! Известно тебе, что это такое?»

Тётя Леля смотрела на него с каким-то влюбленным ужасом.

«Мафия — это особая, крайне опасная, организованная разновидность криминала. Подчеркиваю: организованная. Занесена к нам из-за рубежа».

«Батюшки, — пробормотала тётя Леля, — опять?..»

«Америка, — подтвердил начальник. — Мы подчас проявляем беспечность, забываем о капиталистическом окружении. А они заинтересованы в том, чтобы у нас росла преступность. Вот теперь сама соображай».

«Да ведь мы темные, — сказала тётя Леля, разливая остаток водки, — Мойсеич, друг милый, сходи в шкаф; у меня там кой-что припасено...»

«А! Вот это другое дело; а ты говоришь, темные люди. Знаем мы вас. Дай-ка мне, я сам разберусь!» — Он принял из моих рук бутылку трехзвездного коньяку, из рук хозяйки особую рюмку.

«Ну как?» — спросила тётя Леля.

«Хорош! Ух, ты... уж и не спрашиваю, где достала».

«Добрые люди везде найдутся, Борис Борисович».

«Вот, — сказал начальник, подняв палец. — Вот что нас губит: наша доверчивость. Русский человек всех считает добрыми да хорошими. А кругом — темные силы, мафия, едри её!»

Тётя Леля подвинула к нему блюдце с нарезанным лимоном.

«Ну, ты даешь!.. Н-да, — продолжал он, — мафия нищих. Тоже бывает. И где? Под носом, можно сказать, у руководства. Я давно уже ставил вопрос, надо принимать меры! А мне отвечают, вот и принимайте. Им легко говорить, а что я могу сделать? С моим штатом. Когда у меня следователей раз-два и обчелся. Оперативный отряд, понимаешь, из трех бойцов: из них двое пенсионеры. И это в нынешней сложной международной обстановке. Подключайте, говорят, органы. Им легко говорить! У органов небось своих дел по горло. Как я могу их подключить: вы руководство, вы и подключайте».

Со смешанным чувством испуга и облегчения, опустошения, похожего на то, какое бывает после трудного экзамена или после бурного опорожнения кишечника, я слушал диатрибу Бориса Борисовича о трудностях работы в новых условиях.

«Нужны облавы. Нужен транспорт. Эту шатию голыми руками не возьмешь. Нищие, понимаешь, божий угодники... На самом деле это сила! Пострашнее всяких банд, а почему? Потому что это богатые люди. Ты не смотри, что он стоит в лохмотьях, поет, понимаешь, Лазаря! У этого Лазаря — будьте спокойны! Он тебя с потрохами купит. У него золото припрятано. У него брильянты. У него в глубинке, в деревушке какой-нибудь засратой, верст за пятьдесят, дом стоит под железной крышей, за забором, и волкодав сидит на цепи. А что в этом доме? — Борис Борисович покачал головой. — В этом доме вино льется рекой, коньяк вот этот, как воду, пьют. Блядей к себе из области возят. А потом глядишь, как ни в чем не бывало опять он сидит где-нибудь, Христа ради клянчит. И все заодно, все, сучьи дети, друг друга знают: у них и начальство своё. Кому где сидеть положено и сколько надо платить атаману ихнему, всё у них известно, всякий своё место знает. Псы вонючие... И до чего все обнаглели! До чего обнаглели! Как-то прохожу мимо рынка. Сидит».

«Он?» — спросила тётя Леля.

«Да не он... Тоже апостол ихний какой-то. Иов многострадальный, народ мимо ходит; само собой, подают. Я тоже ему бросил... Потом говорю: «Ну-ка, дядя, предъяви документ». «А в чем дело?» — спрашивает. «Да ни в чем, — говорю, — проверка паспортов». Веришь ли, он делает вид, что меня не узнает. «Да пошел ты, — говорит, — к такой-то матери...» Я спокойно расстегиваюсь, у меня там гимнастерка с блямбой. «А, — говорит, — начальник, так бы и сказал». И, представляешь, глазом не моргнул. Достает из-за пазухи, всё завернуто аккуратно в тряпочку, там у него и паспорт, и пенсионная книжка; комар носа не подточит. Мало того, — продолжал Борис Борисович, разливая коньяк, — смотрю, еще один подъезжает. За ним еще, и слепые, и на тележках, и хрен знает кто. До чего обнаглели. Видят, что начальник пришел, и никакого страха, наоборот даже. «Вот что, — говорю, — отцы, что-то вас слишком много развелось. Конкуренции не бойтесь?» Они мне в ответ: «Гы-гы-гы!» Понравилось. Потом один говорит: «У нас коммунизм, мы друг с дружкой делимся, по-братски!» Понятно тебе, что это значит? Вот то-то и оно».

Помолчав, Борис Борисович спросил:

«Сколько у него было денег?»

Тётя Леля развела руками.

«Ты не увиливай, не увиливай!»

«Истинный крест, Борис Борисович, как на духу: не знаю. Люди болтали...»

«Что болтали?»

«Да всякое. Говорили, что человек не бедный».

«Не бедный. Х-ха! Да он нас с тобой с потрохами бы слопал, и с твоим жильцом в придачу! Всё маскировка, — сказал убежденно Борис Борисович. — Нам всё известно. И что он там какие-то памятники охранял, доклады делал, всё маскировка. С целью скрыть преступное прошлое и завуалировать источники обогащения. У нас есть точная информация. Мафия попрошаек, вот тебе и разгадка. Занесся, слишком много нагребастал, с начальством ихним не поделился, вот они с ним и расправились. Теперь ты мне вот что скажи... Я по старой дружбе тебя вызывать не буду, ты мне неофициально скажи. Он ведь у тебя бывал?»

Тётя Леля молча кивнула...

Пораженный страшной вестью, я лишился слов, я был не в состоянии собраться с мыслями; поздно вечером мы сидели, не зажигая огня, со стола были убраны остатки еды и питья, тётя Леля задумчиво разглаживала рукой скатерть, стучали ходики, шелестел дождь, с улицы донеслось урчание грузовика, потом как будто кто-то прошлепал мимо крыльца, кто-то крался по ступенькам; нет там никого, сказала она, сиди... Одним словом, то, что для моего предполагаемого читателя не является неожиданностью, для меня было ударом грома среди ясного неба. Я спросил, знает ли она, что Фотиев был великим человеком, великим русским мыслителем, что он был святым и оттого был нищим, святость и нищета нераздельны, и в Евангелии сказано: птицы и звери лесные имеют кров, а Сыну человеческому негде преклонить голову! Тётя Леля молчала и гладила рукой скатерть. Утирая слезы, я сказал, что не верю во все эти рассказы, не было у него никаких денег, зачем ему богатство? Всю жизнь я слышу легенды о золоте и бриллиантах, о нищих старухах и тысячах, найденных под матрасом. Да и откуда убийцы могли знать? Где он хранил эти тысячи?

«На себе носил, — сказала она. — У нищих и странников в обычае носить под рубищем, на голом теле кошель».

«Где это произошло?»

Она ответила, что не знает и знать ничего не хочет об этой истории. Однако согласась, по своему обыкновению, на рассказы других людей.

Из того, что сообщили «люди», можно было заключить следующее: Кузьмич сидел на своем законном месте, дожидаясь вечернего поезда. Два раза в неделю на нашей станции останавливался скорый из Москвы забрать почту; пассажиры вылезали подышать воздухом. Кузьма Кузьмич вставал со своего места и, патрулируя вдоль вагонов, успевал обойти весь состав.

Очевидно, убийца знал, что поезд опоздает; Когда перрон окончательно опустел, стояла уже глубокая ночь. Кузьмича нашли поблизости, с пустой сумой и без кошеля.

Тётя Леля ходила по кухне, я слышал, как она наливает воду в чайник. Я сидел, схватившись за голову. Она просунулась в дверь.

«Мойсеич». Я взглянул на неё.

«Может, водочки хочешь?»

Я покачал головой.

Она вошла с чайником и стаканами. Щелкнул выключатель. Она подтянула гири на часах.

«В аккурат в это время», — сказала она.

«Это вам Борис Борисович рассказал?» — спросил я.

Мы пили чай.

«Что тебе сказать? — промолвила тётя Леля, глядя в черное запотевшее окно. — Царство ему небесное. Ты у нас, как бы сказать, стал членом семьи. С тобой можно начистоту. Алевтина-то ведь, как бы это сказать... — Она провела рукой по лицу и добавила: — Жизнь-то не зачеркнешь. Вот в чем дело, Мойсеич. Она его дочь».

«Кузьмича?»

«Да при чем тут Кузьмич».

Я уставился на неё, один сюрприз следовал за другим.

«Вот так. Очень просто, — сказала тётя Леля. — А почему, ты думаешь, он хлопчет?»

«Вы были за ним замужем?»

«Да куда там, — она усмехнулась, — я была замужем за Андреем, покойником. А это так... любовь до гроба. Мой мужик пил, а я с Борей жила, с Борис Борисычем. Он тогда был молодой да стройный, из армии только вернулся. Это у него потом брюхо выросло. Как пришел из армии, поступил в милицию; его и на фронт не взяли. Ужас, — сказала она. — Сядь-ка поближе...»

Она зашептала:

«Это всё одни разговоры. Для отвода глаз... Это он нарочно слухи распускает. Теперь, значит, следовательно мафию ищет. На мафию всё свалить хотят. А на самом деле... Я тебе скажу. Его Петух прикончил. Он уже давно замышлял. И Алевтина знала. Петух его и пришил, это я тебе точно говорю».

Я спросил, где же он теперь.

«Смылся с денежками», — был ответ.

«А где Алевтина?»

«Алевтину, — сказала она, — Борис Борисович, как только услышал, отправил подальше».

«Куда отправил?»

«Всё тебе надо знать. Ну, в деревню, от глаз подальше».

В страшном беспокойстве я озирался по сторонам, не решаясь идти и понимая, что не могу сидеть сложа руки. Новости валились на голову одна за другой, но меня уже не интересовало следствие, не интересовал убийца, я хотел знать, что будет с Обществом старины, а главное, самое главное...

«Ты куда это собрался? — сказала она строго. — Сиди! Никуда тебя не пущу».

«Тётя Леля, — забормотал я, — это очень важно. Мне надо идти. Пока не поздно... Я должен спасти бумаги...»

«Какие еще бумаги?»

«Рукописи. Научные труды. Это важно! Не для нас, для всей России. Для потомства...»

«Э! — сказала она. — Друг милый... Снявши голову, по волосам не плачут. Садись, я тебе не досказала».

Было около одиннадцати часов вечера. Я выскочил вон.

Непроглядно-темное небо накрыло меня, словно одеялом. Город был погружен в глубокий сон. Город сам сделался сновидением, чем же, как не сном, были глухие переулки Заречья, ряды мертвых домов со смутно отсвечивающими окнами, канавы, где блестела вода, старая пожарная каланча, рисовавшаяся на беззвездном небе. Я метался по этим закоулкам сна, мне показалось, что я кружу по одним и тем же улицам, я понял, что заблудился, хотя успел за время жизни в городе изучить правый берег; постепенно вязкая субстанция сна, мертвая, призрачная жизнь города охладили мою тревогу, я шел, внимательно глядя под ноги, пахло глиной, только что прошедшим дождем, слабый ветер шевелил мои волосы.

Я не мог хладнокровно взвесить обе версии — для этого у меня не было ни времени, ни способности объективно взглянуть на вещи. Обе были чудовищны и неправ-



доподобны. И обе, увы, не представляли ничего невозможного. Разве правдоподобна сама наша жизнь? Всё могло быть, и это «всё» в конце концов и случилось. Однако теория Бориса Борисовича начинала казаться мне более убедительной; вспомнился разговор с кривой рожей, сидевшей на вокзале, на том самом месте, рабочем месте Кузьмича, где когда-то я впервые встретил его. С другой стороны, и моей доброй хозяйке нельзя было отказать в трезвости и здравомыслии; тётя Леля судила о вещах беспристрастно: как-никак Петух был её зятем, казалось бы, куда спокойней было бы согласиться с мнением начальника, свалить вину на банду нищих, чем подозревать, пусть даже в доверительном разговоре, своего родственника. Обе версии сходились в одном, и уж это-то по крайней мере было неопровержимой истиной: уголовный мир плескался вокруг нас, мы дышали его испарениями, этот мир невозможно было очертить четкой границей, отделить его от «народа», он сам был частью народной жизни. Наивностью было думать, что, уйдя от всех и от всего в самую дальнюю и глухую провинцию, опустившись на дно воронки, я оставлю навсегда этот черный мир — вернее, что он меня оставит; он был здесь, рядом, и его нельзя было обойти стороной, как невозможно было, не ступив ногой в грязь, после дождя перейти улицу.

Я убежден: вернись я в город, я не узнал бы ничего нового. Разве только то, что руководство приняло меры. Власти отреагировали. Произведены облавы и проверки документов, базар, вокзал и другие общественные места временно очищены от бродяг и попрошайек, кого-то посадили, кого-то, может быть, и пустили в расход. Разумеется, обо всем этом можно было узнать только от «людей», всё это, как и любые новости в городе, могло расходиться лишь в виде слухов, в фольклорно-рапсодическом исполнении! Пожалуй, пронесся бы и слухок о том, что Петуха где-то далеко поймали, в Челябинске или по дороге, а может, он и вовсе никуда не уезжал, скрывался в рабочем поселке, в сарае своего отца или, чего доброго, у Алевтины, пировал и бушевал, и однажды среди бела дня, что называется, голыми руками был взят стукнувшим в дверь милиционером. Вот что я мог бы услышать, если бы я снова приехал в город, и, по совести говоря, никакой другой «истории» предложить не могу, дело не в том, что преступление скорее всего не было распутано до конца, а если было распутано, то никто об этом ничего толком не узнал. Очень может быть, что начальство, не имея возможности остановиться на одной окончательной версии, последовало старинному мудрому правилу и покарало всех возможных виновников, не смущаясь тем, что вина одного исключает виновность другого, но, повторяю, не в этом дело. А в том, что сама жизнь — плохой сочинитель. Ведь это только в полицейских романах все концы сходятся и узлы развязываются. Жизнь — плохой сочинитель истории, неумелый, не владеющий повествовательной техникой, и народный гений отдает себе в этом отчет и правит бездарный черновик. Смерть Кузьмы Кузьмича достоверна лишь в том смысле, что его нет больше на свете. Человек, для которого возгорелись новым смыслом евангельские глаголы и смерть перестала быть непреложным законом, этот человек умер по особому злобному замыслу судьбы, приготовившей несколько смертей, несколько волчьих ям на случай, если одной окажется недостаточно.

Естественней всего было предположить, что бумаги Кузьмы Кузьмича лежат в монастыре. Но сперва я решил навестить нашего общего друга и спросить у него совета. Пожарная каланча служила мне ориентиром. Впотьмах я отыскал домик-развалюху, ветер хлопал полуоторванным краем толевой крыши, глухо кашлял пес. Женщина в белом платке и темном платье, жена Ивана Игнатьевича, выглянула и впустила меня. Наклонившись, чтобы не ушибиться о притолоку, я перешагнул высокий порог. Из сеней мы вошли, минуя огороженную занавеской кухню, в полутемную, жарко натопленную горницу, на столе стояла лампа с прикрученным фитилем, в углу мерцала красная лампада. Я присел на табуретку возле кровати больного. Хозяйка прибавила огня. Над кроватью был приклеен картон с родословием. Последний отпрыск

легендарного князя-охотника покоился на высоком ложе под стеганым одеялом, как некогда сам Якун лежал распростертый на лесной поляне в ожидании чуда.

«Слышали ли вы, — спросил я, — что случилось?» «Как не слышать», — ответила хозяйка. Несколько мгновений я сидел, не решаясь тревожить Ивана Игнатьевича. Он не подавал признаков жизни. Я пробормотал:

«Уже поздно. Зайду завтра».

«Да вы позовите его. Он не спит. Ваня! К тебе гость пришел».

Ответа не последовало, я спросил:

«Что с ним?»

«А ничего... задумался».

«Что врач говорит?»

«Скрылёз», — сказала она и вышла из комнаты.

Местный художник изобразил генеалогическое древо предков Ивана Игнатьевича с корнями, имевшими вид второго дерева, как бы отраженного в воде. Другими словами, была сделана смелая попытка восстановить род и происхождение самого прародителя. История продолжалась в мифе, как дерево продолжается в своем перевернутом отражении, баснословные пращуры сошлись толпой из далеких земель, подобно тому, как за каждым из нас стоит целое человечество матерей и отцов! Фантастическими плодами на подводных ветвях, почти на уровне одеяла, под которым лежал больной, висели греческие царевны, хазары, варяги и печенег. Несколько выше длинные извивающиеся побеги протягивались к Золотой Орде. Было плохо видно. Я устал, позади был долгий, кошмарный вечер, между тем как главное дело не было сделано.

С высокой подушки Иван Игнатьевич смотрел на меня ясными, отсутствующими глазами.

«Все там будем», — сказал он вдруг.

«Вы слышали... вы знаете, что произошло?»

«Слышать не слышал, — возразил он, — а знаю».

«Иван Игнатьевич, — заговорил я торопливо, боясь, что он снова впадет в беспамятство, уйдет к далеким предкам, где все мы будем. — Иван Игнатьевич... нам необходимо спасти его рукописи; знаете ли вы, где они спрятаны?»

«Чего?»

«Где спрятаны рукописи? Его труды?»

«Какие труды?»

«Иван Игнатьевич, вы меня слышите?»

«Слышу; а в чем дело?»

«Рукописи Кузьмича. Где они?»

«Которого Кузьмича?»

«Его зарезали!» — закричал я.

«Кого?»

«Кузьму Кузьмича! Фотиева!»

Больной вдумчиво смотрел на меня.

«Ну и что», — сказал он.

Из-под кровати вылез старый, обвислый, с растерзанной бородой, безнадежно пьяный пес-коадьютор Общества памятников старины и, роняя слезы на половику, уточнил, что учитель не зарезан, а зарублен топором.

## Страшный суд. Трактат о Боге

Великое обновление наук, которое связывают с именем лорда Бэкона, не могло не коснуться и науки о Высшем существе; оглядываясь назад, мы можем сказать, что в эту эпоху произошло второе рождение теологии. Насущная необходимость реального доказательства бытия Божия, после того как схоластические аргументы потеряли свою убедительность, равно породила и «Размышления о первой философии» Картезия, и вычисление даты Второго пришествия, занимавшее учёными мужей Королевского общества в Лондоне, и заносчивое убеждение Готфрида Лейбница, будто люди, подобные Архимеду, Кеплеру и ему самому, составляют круг советников Творца. Не может быть так, чтобы Всевышний преступал законы, установленные им самим. Бог учёных XVII века в свою очередь уподобился великому учёному — математику, изобретателю и инженеру.

Такое умонастроение не могло не иметь предшественников и предтеч: вспомним Луллу, чьё «Великое всеобщее искусство», реализованное в виде логической машины, притязает не только на исчерпывающее описание свойств Божества, но в известной мере и на их воспроизведение.

Уже здесь брезжит догадка о теологии как экспериментальной науки. Сперва ошупью, а затем всё уверенней шла она по этой стезе в последующие века. Но не так ли эволюция других опытных наук? Не будучи в силах охватить природу в целом, физика, химия и биология на время отказываются от всеобъемлющих теорий, чтобы посвятить себя изучению частных свойств природного объекта. Вот так же и теология, перекочевавшая из монастырских библиотек в лаборатории, пытается в качестве первого шага воспроизвести *in vitro* отдельные свойства и эманации Высшей воли. Как и в истории других естественных наук, девятнадцатый век — классическая пора богословского позитивизма.

Экспериментальная теология постулирует принципиальное согласие «предмета» исследований, иначе говоря, исходит из молчаливого допущения, что Бог не ставит палки в колёса экспериментатору. Бог не противится стать объектом лабораторных экспериментов, подобно тому как он не возражал против схоластических диспутов; более того, он вообще равнодушен к теологии. Задолго до Эйнштейна опытное богопознание руководствуется правилом: Господь хитроумен, но не злокознен.

Поистине революционным было открытие, сделанное почти одновременно с появлением теории электромагнитного поля: около 1870 года Шимон бар Йохай получил в эксперименте сфирот — божественные «искры» каббалистической теологии. Продолжительность их существования оказалась невелика, всего несколько секунд. Докладывая о своих результатах, исследователь отметил поразивший его факт: искровой разряд вёл себя так, как если бы события развивались в обратном порядке — от полного угасания к вспышке.

Значение этого прорыва в неведомое было осознано позже; укажем на некоторые из его последствий. С конца XIII в. было известно, что сфирот служат инструментом сотворения мира: будучи эманациями абсолютно непостижимого Божества, они перебрасывают мост между запредельной реальностью и посюсторонним миром. Что же означает открытие Йохая? Оно означает, что отныне перед нами открывается возможность заглянуть в во внутреннюю динамику божественной жизни, лежащей в основе творения.. Далее, это открытие положило начало исследованиям, которые привели к фундаментальному выводу: важнейшим физическим атрибутом Бога является время. Впервые удалось объяснить, почему математическое время Ньютона течёт от прошедшего к будущему. Потому что в обратном направлении — из будущего в настоящее — течёт время Бога!

Так было раз навсегда покончено со всеми попопозновениями отождествить божественное волеизъявление со случаем. Экспериментальная теология дала окончательный ответ на старый вопрос: существует ли свобода воли? Почему монета упала кверху орлом, а не решкой, случайность ли это — или монета обладает свободой воли? Физический процесс взлета и падения монеты в обоих случаях один и тот же. И в этом всё дело. Ибо в действительности не имеет место ни то, ни другое: ни случайность приземления решкой или орлом, ни свобода выбора, присущая самой монете.

Другой пример: данные нейрофизиологии — о чём они говорят? О том, что всё то, что кажется нам проявлением нашей свободной воли, обусловлено игрой импульсов, проходящих через синапсы нервных клеток. Представим себе сеть железнодорожных путей, по которым в кажущемся беспорядке перемещаются локомотивы: движутся ли они по собственной воле или по воле случая? Ни то, ни другое. Ими руководит диспетчер, в руках у которого находится расписание. Случаю, как и личному произволу, нет места в мире, где наличное положение вещей есть результат божественного предвидения; если классический детерминизм исходил из того, что будущее содержится в настоящем, как свойства треугольника — в его определении, то экспериментальная теология доказывает, что, напротив, настоящее вытекает из будущего. Настоящее есть функция будущего.

Понятно, как велико значение этого факта для решения главной проблемы экспериментального богопознания — создания Искусственной Вселенной. Овладев божественным временем, мы сможем установить законы и формы мира до того, как он будет создан. Манипулирование божественными эманациями откроет нам доступ к рычагам бытия. Появится новое человечество. Таков реальный смысл пророчества: «И увидел я новое небо и новую землю» (Откровение св. Иоанна Богослова, 21:1). Мир, сконструированный теологом-экспериментатором, мир, свободный от случая и произвола, бесконечно более совершенный, чем нынешний, перестанет быть сказкой — он станет необходимостью.

## XVI

*Ночные странствия по незнакомому городу. — Мысли о бренности бытия. — Стремительное развитие событий. — Мудрое решение Бориса Борисовича.*

Не могу отделаться от ощущения, что потеряна важная мысль, упущено из виду нечто существенное; вместо этого лезут в голову не заслуживающие внимания подробности. Мелочи засоряют память. Вытесняя главное, они узурпируют его значение и смысл. Покинув жилище Ивана Игнатьевича, я добрался до улицы, мощенной булыжником, через сто метров меня нагнал гроыхающий фургон. В кабине сидели двое. Всё это совершенно не относится к делу.

Водитель удостоил меня презрительно-равнодушным взглядом, соседка неохотно потеснилась, я вскарабкался на сиденье.

Несколько времени ехали молча. Наконец, она проворчала: «Ты зачем его посадил?» Это была маленькая, щуплая, высосанная жизнью женщина, похожая на старую девочку, с птичьим профилем, с голыми ногами, в туго запахнутом домашнем халате, словно её подняли с постели. Возможно, я оказался свидетелем семейной сцены.

«Нам поговорить надо. А ты кого ни попадя сажаешь».

Грузовик трясся по бесконечной улице мимо темных домов и заборов.

«Остановись! Остановись, говорю!»

«Ну чего ты», — вяло отозвался водитель, рыжий детина, сидевший за своим рулем, как за столом, не отводя глаз от дороги.

«Паразит, — закричала она, — не хочу больше видеть тебя, пропади ты пропадом!»

«Ну чего ты».

«Сейчас сама дверь открою. Ну-ка, ты... пусти».

На ходу она попыталась перелезть через меня и оказалась у меня на коленях.

«Вот так, — процедил водитель, косясь на нас. — Сама, значит, мужикам на х... садишься».

Кое-как мы поменялись местами, она схватилась за ручку дверцы, в эту минуту нас начало сильно трясти, шофер свирепо крутил баранку вправо и влево, тяжелая колымага боком съехала в яму, с ревом выбралась и стала. Шофер стоял возле машины с задумчивым видом, сдвинув кепку на глаза. Он хотел срезать часть пути и въехал на заброшенную стройку.

География города была такова, что, куда бы вы ни направлялись, дорога приводила вас к началу путешествия: город подчинялся закону искривленного пространства. Мост был недалеко, я давно уже мог бы дойти до него пешком. Я рылся в карманах, маленькая женщина топталась в своем халатике, обхватив руками грудь. «Не давай ему! — сказала она. — Что, больше не нашлось?.. Сволота, чего ты мне суешь!» Я хотел высыпать ей мелочь, всё, что было в карманах, она оттолкнула мою руку. Но едва я выбрался наружу через пролом в заборе, окружавшем строительную площадку, и вышел на берег, как силы оставили меня. Пустота воды, пустота огромного неба мгновенно высосали из меня остатки решимости.

Ни единого огонька не светилось в Заречье, не угадывалось признаков жизни и на том берегу. Лиловое небо слилось с темной массой, это могли быть тучи, леса или остатки древних сооружений. Не было больше ни улицы Александра Невского, ни тёти Лели, ни Алевтины, ни убийцы-Петуха. Ничего не было. Город пропал, погрузился в расщелину времени, как это не раз с ним случалось в былые века, и кто знает, не пропал ли он на этот раз окончательно. Одним словом — это предположение напрашивается само собой — я находился на грани чего-то близкого к сумасшествию, и в то же время меня не покидала холодная уверенность, что это не я свихнулся, а мир, окружавший меня, обнажил свою трухлявую сердцевину, свою абсурдную, шизофреническую суть. Случайные люди, с которыми я сидел в грузовике, вспомнились мне, в их явлении заключался некий ответ, и мысль о том, что нет нужды ломать голову, спрашивать себя, что здесь призрак, а что истина, никакой необходимости нет тащить дальше этот мешок с требухой, волочить этот чемодан с кирпичами, эту тусклую лживую и отвратительную жизнь, — достаточно двух шагов, и всё будет решено, развязано и закончено, — мысль эта изумила меня своей простотой. Как будто я решал запутанный арифметический пример, потел и исписывал один лист за другим, а ответ оказался — ноль. Добредя до громады моста, я опустился на деревянный помост для пешеходов, посреди черной реки, и чувствовал спиной холодные прутья решетки, отделявшей помост от рельсов.

Я так устал, что мог бы уснуть в ту же минуту и, кажется, провалился на одно мгновение в небытие, как вдруг вскочил на ноги. Сверкнула голубая молния, из-за горбом поднимающегося моста шел трамвай. Желтое око выкатилось над заблестевшими рельсами. Две пустых освещенных коробки прогремели над головой, вихляясь, съехали с моста, повернули и окунулись во тьму. Некоторое время спустя, перейдя на другой берег, я добрался до общежития педагогического техникума.

Общежитие находилось во дворе двухэтажного дома на набережной, у ворот висела табличка, вход находился сбоку под аркой. В коридоре, к моему ужасу, сидела неподвижная фигура. Старик с белыми усами, — не тот ли, кто преградил мне путь в

столовую Военторга? По сравнению со столовой здешний пост был явным понижением в должности. Старик открыл глаза. Меня он, разумеется, не узнал.

Удар судьбы не умерил его усердия. «Каникулы, нет никого». Я возразил, что такая-то здесь. «После одиннадцати никого не пускаем». «Мне только на одну минуту». «Хоть на сколько». «Хорошо, — сказал я, — позовите её». «Еще чего». «Я её родственник». «Много вас тут ходит». В отчаянии я предложил старому хрычу оставить в залог мой паспорт. «Как фамилия», — сказал он, берясь за телефон. Кому он собирался звонить? «Хорошо, — поспешно сказал я, — вы сами сходите, а я тут побуду». «Да говорят же вам, каникулы, ничего не знаю!» Заевшая пластинка крутилась до тех пор, пока мне не удалось выведать, в какой комнате живет Фрося.

Почему я был уверен, что застаю её в общежитии? Был ли я уверен? Скорее действовал по наитию. Выйдя из-под арки, я огляделся. Город спал. Мне пришлось обойти почти целый квартал, чтобы добраться до общежития с другой стороны. Продрался через кусты. Темные окна были задернуты одинаковыми занавесками и слабо отсвечивали, под ногами шуршала трава. Я шел, отсчитывая номера комнат. Постучал в стекло. Никакого ответа.

Мы рассмеялись, это напоминало историю о любовнике, который лезет ночью в окно. Некоторое время мы шептались о пустяках, она рассказывала, как ей почудилось, будто стукнули в дверь, но оказалось, что стучат в окно, как она всматривалась в темноту, но стучали на другом конце дома, и как ей снилось, что кто-то ломится в комнату'. Я сидел на пустой койке, в комнате жили еще три девушки, койки были свободны, студентки разъехались по домам.

Она сказала, что её вызывали в милицию, и была удивлена тем, что меня не интересуют эти подробности. «А я думала...»

Я перебил её.

«Фрося. Мы должны спасти его рукописи. Это сейчас самое главное».

«Рукописи?»

«Да. Где они могут быть?» — Я добавил, что только что был у Ивана Игнатьевича.

«Рукописи...» — повторила она задумчиво.

«Может быть, — предложил я, — двинуться, не дожидаясь утра, в монастырь?»

«Зачем?»

«Как зачем? Неужели ты не понимаешь?»

«Там ничего нет».

«А где же они?»

Она усмехнулась, покачала головой.

Сбитый с толку, я уставился на неё, на этого отрока с таинственными пустыми глазами, в кофте, накинутой на ночную рубашку.

«Никаких рукописей нет, — сказала она, — с чего вы это взяли?»

«Он говорил, что работает над книгой, я хорошо помню. Или что-то в этом роде. Да и ты в докладе ссылалась на его работы. Послушай, девочка...» — И я стал говорить о том, что наш долг — сохранить наследие учителя. Каждое слово, написанное его рукой, драгоценно. Когда-нибудь мир узнает о Фотиеве. Когда-нибудь...

Светлый, пустой, неподвижный взгляд. Серебристый сумрак ночи, струящийся из окна. Из предосторожности мы не зажигали свет.

Я пробормотал:

«Ты меня слушаешь?»

«Да, — сказала она. — Ссылалась. На труды, которые никогда не были написаны. Что тут удивительного? Христос тоже не написал ни одной строчки. Если не считать...»

«Фрося...»

«Если не считать того, что он писал пальцем на песке. А что он писал? — Она усмехнулась. — Никто не догадался подойти и взглянуть, что он там пишет. Все смотрели на блудницу... Подождите. Тихо!»

Мы прислушались, она постояла у двери, вернулась.

«Нам надо подумать, — проговорила она. — Нам надо хорошенько подумать... Вы уверены, что вас никто не видел?»

«Фрося, — сказал я, — они же понимают, что мы тут ни при чем».

«Они меня вызывали. Между прочим, и про вас спрашивали. Вы ведь часто бывали у Алевтины».

«Ну и что».

«Я не знаю. Я думаю, что... вам не надо возвращаться к хозяйке. Я сама утром схожу за вашими вещами».

«Что ты хочешь сказать?»

«Ничего особенного, — сказала она, глядя на меня. — Просто вам надо сматываться».

«В каком смысле?»

«Мотать из города. И чем быстрее, тем лучше».

«Из города?»

Она кивнула.

«Фрося, не такие уж они дураки. В конце концов что я такого сделал? Я сам был поражен, когда услышал... Тётя Леля считает, что убил Петух, а они, кажется, подозревают мафию нищих. Начальник милиции при мне рассказывал... говорил даже о какой-то даче, где они все собираются. Я, конечно, понимаю, что во всем этом есть элемент мифологии, но мне-то по крайней мере он ничего не сказал. Он даже принес мой паспорт, меня прописали в городе. Неужели ты думаешь...»

И в то же время я понял каким-то чутьем, что она права.

Уму непостижимо, как до сих пор мне не пришла в голову эта элементарная мысль. Даже не мысль — мгновенный позыв к бегству. Лишь теперь с непростительным запозданием он дал о себе знать; как человек, в которого целятся из окошка, я ощутил — спиной, кишками — наведенный на меня оптический прибор. Не имело никакого значения, что в действительности случилось с нашим учителем. Он был мертв, надо было спасаться.

«Да, но как же это...»

«Мы поедем вместе».

«Куда, Фрося?»

«Там будет видно».

«А как же...»

«Тётя Леля поймет. Она умная женщина».

«А как же Алевтина?»

Брат Амвросий пожал плечами. «Может быть, она сама к вам приедет».

«Нет, Фрося. Если я уеду, то уеду навсегда. Слушай-ка... — Я вдруг спохватился. — Ведь меня потом нигде не пропишут. Сначала надо выписаться».

Она спросила:

«У вас паспорт с собой?»

Я вынул паспорт.

«Вот видите», — сказала она.

Онемев, я листал эти странички, я вперялся в паспорт, в то место под рубрикой «Отметки о прописке», где должен был стоять штамп и где не было ничего, никаких отметок, — и это было всё равно, как если бы там стояло: «Вон отсюда!» Как будто судьба двинула бровями, как если бы начальство, по своей лености или милости, ограничилось тем, что коротко прорычало: «Живо! И чтоб духу твоего, сволочь...»

Я взглянул на брата Амвросия, взглянул на паспорт и подумал, — что же я мог подумать? Надо быть благодарным Борису Борисовичу! Надо было поклониться ему в ножки. Вернув пустой документ, он преподал мне, в сущности, отеческий совет. Я даже не исключал того, что сама тётя Леля подсказала ему такое решение. Я был лицо без определенных занятий, без места жительства, человек-подорожник, — и в одно мгновение я сообразил, что произойдет, если я не последую молчаливому указанию.

Только что я твердил Фросе, что ни в чем не виноват, ни к чему не причастен. Какая чушь. Криминал был налицо: достаточно того, что я не донес о побеге Петуха из мест заключения (если это был побег), о встречах на конспиративной квартире — а чем же иным было жилище Алевтины? Короче говоря, я был уже не свидетель, а соучастник. Обе версии убийства отнюдь не исключали друг друга: очень может быть, что Петух пришел Фотиева по наущению нищих. Или даже конкретно по заданию отца Зуя. Добыча пополам. А ведь я присутствовал при разговоре Кузьмича с папашей Зуем. Всё это прочертилось мгновенно передо мной, со всеми разветвлениями, как молния на черном небе.

«Мотать», — сказала она. Смешно даже сомневаться, оправданны ли мои опасения. Но, намекнув, что мне лучше убраться подобру-поздорову, начальство не могло ждать до бесконечности. И надо было только удивляться тому, что меня всё еще не загребли. Мотать, рвать когти, не мешкая и не оглядываясь, бежать куда глаза глядят, и чем дальше, тем лучше! Меня знобило, я спросил, который час, оказалось, около трех часов ночи. До ближайшего поезда оставалось целых четыре часа. Я лег не раздеваясь на соседнюю кровать.

Обдумывая дальнейшие действия, а также возможный маршрут, — хотя какой тут мог быть маршрут, я был вынужден пуститься в путь наугад, как наугад ехал сюда, — я время от времени ловил себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот, словно за меня думает кто-то другой; в конце концов этот другой придумал нечто совсем странное, а именно, что никакого убийства не было и не было усатого деда, но что будто бы Фрося — это моя жена. Сон этот продолжался одно мгновение, потому что в дверь постучали. Это была милиция, которую привел сторож.

Надо было не мешкая вылезти из окна. Вместо этого я лежал, парализованный страхом, и ждал, когда стукнут снова. В комнате стоял молочный сумрак ночи. «Фрося», — сказал я шепотом. Она не отвечала. Её не было в комнате! Я приподнялся. «Фрося! — позвал я. — Ты спишь?» «Нет», — сказала она спокойно. «Я тебя зову, ты не отвечаешь». «Разве?» — спросила она. «Ты слышала?» «Что?» «Кто-то стучался». «Это вам приснилось. Отдыхайте... у нас еще много времени». «Может, лучше дожидаться на вокзале? Я пойду, а ты потом придешь».

Я сел на кровати. Она тоже поднялась.

«Фрося. Посмотри там...»

«Где?»

«Там кто-то есть. Я сам слышал».

Она подошла к двери, повернула ключ в скважине и выглянула наружу. «Спите спокойно», — сказала она.

Я спросил: «А вахтер?»

«Какой вахтер?»

«Вахтер!»

«А-а. Да он сам спит без задних ног. И потом, откуда ему знать, что вы здесь».

«Нет, я всё-таки пойду», — сказал я, подумав.

Запахнув халат, она села на койку рядом со мной.

«Мойсеич...» — сказала она.

«Да», — отозвался я и повернулся к ней, она положила мне руки на плечи. Она была в одной рубашке. Я сказал: да, или просто кивнул, потому что то, что произош-



ло, не было неожиданностью. То, что произошло, не могло не произойти, потому что вся моя жизнь была бессознательной дорогой к ней, сквозь лабиринт, который мы называли городом, и я думаю, то же чувство в эту минуту испытывала Фрося. Человеческая душа непостижима, и лишь в очень редкие минуты можно заглянуть в неё, как заглядывают в чуть приоткрывшуюся дверь. Она положила руки на мои плечи. В отчаянии, как перед казнью, мы обнялись. Она была худенькая, как мальчик, с едва выступающими бугорками груди. Нам было тесно на узкой койке, каждому стало тесно в собственном теле, мы перевалялись с низкого ложа на пол, но она всё еще не могла насытиться и молила, и требовала, чтобы я ей помог. «Там... да, туда... — бормотала она в тревоге, — скорей, туда... — и какая-то паника овладела нами, точно счастье стремительно уплывало от нас, и мы не могли его поймать, — туда... давай, ну!.. — и еще что-то, задыхаясь и стелая, так что нас мог услышать старец в коридоре, и никак не могло прийти, всё еще не могло прийти и, наконец, пришло, и там, на самом дне, в немыслимой судороге, окончилось наше приключение. Я был измучен и мгновенно уснул.

«Я хотела у вас спросить...»

«Да».

Это было всё той же ночью, и она по-прежнему говорила мне «вы».

«Я хотела сказать. Вот вы говорили о даче».

«О какой даче, Фрося?»

«Вам начальник рассказывал».

«Разве я тебе об этом говорил?» — спросил я удивленно.

«Ах, да не всё ли равно, — рассердилась она. — В общем, эта дача... она действительно существует».

«Ты в этом уверена?»

«Не дача, какая там дача. Деревенская развалюха».

«А у меня, — проговорил я, — не выходит из головы Кузьмич. Если бы он только знал...»

«Вот именно: если бы он знал! Слушай, дядя, — сказала она вдруг, — что мы всё говорим загадками. Вот мы любим друг друга... или, может, нам показалось, что любим?»

«Нам не показалось, Фрося».

«Хорошо. Что я хотела сказать... В общем, мы любили друг друга. А он что проповедовал? Что этого не должно быть. Нельзя мужчине спать с женщиной. А с женщиной, выходит, можно?»

«Фрося, что ты повторяешь эту сплетню?»

«Это не сплетня. Он туда любовников своих возил».

«Ты там была?» «Май был».

О существовании Мая Феклистова я совершенно забыл. Что же он там узнал? Деревня, где остались две-три старухи да еще какой-то полусумасшедший Митяй, разве что числилась деревней: одни печные трубы и полусгнившие сараи. Избяные срубы и вообще всё, что можно было разобрать, разобрано и увезено в рабочий поселок, целая улица в этом поселке заселена бывшими деревенскими жителями. И в этой деревне?.. «Да, — сказала она, — в этой деревне. У Митяя».

«Бог с ним, Фрося».

«Он его там прятал».

«Кто?»

«Кто, кто. Кузьмич. Он к нему пришел. Он у него жил...»

«Кто жил, Фрося?»

«Черный мальчик. Помните, я вам рассказывала. Скрипнет дверь, и войдет черный мальчик».

«Что ты плетешь?»

«Ничего я не плету, — буркнула она. — Я пока что еще не помешанная. Вы знаете, кто его убил?»

«Точно не знаю, — сказал я. — Никто еще толком не знает. Скорее всего Петух». Она усмехнулась.

«Ты считаешь это маловероятным?»

«Его убил любовник».

«Какой любовник?»

«Обыкновенный. — И она добавила нечто непереносимо грубое. — У него много их было...»

Этот разговор, как и следовало ожидать, ничем не кончился. Начинало как будто светать, надо было каким-то образом выбираться из общежития. Вот так же когда-то, давным-давно, я соображал, как мне выбраться из гостиницы. Вылезать из окна было уже опасно.

Совершив рекогносцировочную вылазку в коридор, Фрося воротилась в комнату, я ждал её одетый. Прошептала: «Сходите пока в туалет...»

Она снова говорила мне «вы».

После чего она двинулась первой; на наше счастье, старик спал. Я стоял перед дверью, Фрося у поворота в следующий коридор; она дала знак, я бросился вперед, мы выскользнули, дурацки хихикая, на улицу.

Вдалеке, на том берегу, над темным заречьем едва занималось утро. На мысе белел монастырь. Река дымилась и отливала тусклым металлом, весь город казался отлитым из олова; светлело, город становился воздушней, и вдруг заблестела мостовая, и в окнах домов отразилась оранжевая заря. «Фрося... — Мы шли по безлюдной набережной. — Фрося, мы поедем вместе, да? Мы больше не расстанемся?»

«Да, да, — отвечала она, — мы не расстанемся. Мы поедем на юг, я всегда мечтала жить на юге».

«И мы запишем всё, что говорил Кузьма Кузьмич, все его мысли, чтобы ничего не пропало, мы восстановим его учение».

«Да, мы восстановим».

«У нас будут дети, Фрося».

«Да, да! У нас будут дети. Много детей!» — крикнула она и побежала на мост, за моими пожитками, потому что мне уже не было смысла возвращаться к тёте Леле.

## XVII

*Интерес автора к историческому прошлому выдает его желание возместить пропажу собственного прошлого.*

Звездопад 1238 года, поразивший воображение современников, послужил летописцу прологом к рассказу, который с некоторыми вариациями повторяется в других хрониках, но принадлежит, по моему глубокому убеждению, истории нашего города. Семь ночей подряд метеоры чертили небо, на восьмой день в окрестных лесах появились узкоглазые всадники.

В это время в городе заканчивались работы по украшению храма, и некое знамение было явлено иконописцам.

Им было велено изобразить благословляющего Спаса, однако, войдя в церковь, епископ увидел, что Иисус держит руку сжатой в кулак. Дважды переписывали руку,

дважды она сжималась. Под конец прогремел голос в пустом соборе: «Писари! не пишите меня с рукой распростертой, ибо держу город в руке моей». Но епископ не мог допустить, чтобы рука оставалась закрытой. И едва лишь переписали её в третий раз, как забил набат.

Татары подъехали к воротам, ведя на веревке пленника, и стали спрашивать, где князь. В ответ горожане пустили по стреле, татары ответили тем же и подвинулись еще ближе. «Узнаете ли, — сказали они, — вашего княжича?» Князь с меньшим братом и воеводой стоял на воротах и с трудом узнал своего сына: одежда на нем висела лохмотьями, и один глаз был выколот. «Ежели не откроете ворота, — закричали татары, — вырежем ему второй глаз».

Тогда спросили у них, можно ли откупиться. «Можно, — отвечали татары, — только смотря чем». Спросили у них: жемчугом, горностаями, белыми волками, моржовым зубом, драгоценными книгами? «На что нам книги, — сказали татары, — а впрочем, мы еще посмотрим». После этого князь, обернувшись к дружине и воеводе, сказал: «Лучше нам умереть, чем быть в их воле». Князя, большой и малый, вошли в церковь и постриглись в монахи. В это время Спаситель на иконе сидел с благословляющей рукой, в чем увидели они одобрение своему поступку. На рассвете татары вступили в город через пролом в стене. Князя бежали в Печерный град, княгини с дочерьми и снохами, бояре и разный люд затворились в соборе. Епископ с двумя черноризцами поднялся на колокольню и бросился вниз головой. Татары обложили храм лесами и подожгли. Вспыхнуло дерево, высохшее за лето, люди, запертые в соборе, умерли от великого зноя, пожар объял весь город, приняли смерть и захватчики и сквозь дым видели в небе раскрытую руку с двуперстием; утром оказалось, что огонь не оставил ничего, кроме черного от копоти храма, крепостных стен и печных труб.

Мы шли, мы почти бежали на вокзал, когда раздался глухой удар и громовым эхом пронесся над рекой и набережной.

«Что это?»

«Бомбардировка».

«Что?!»

«Разве не слышали, война началась».

«Какая война, что ты несешь?»

«Татары. Варяги. Тевтонский орден. Всё повторяется, дядя...»

Я поглядел на неё.

«Успокойтесь. Я пошутила. Я хотела вам сказать... то есть тебе... Ты, может быть, думаешь, что я с ним жила?»

Я пожал плечами. Солнце уже вставало над городом, окна верхних этажей сверкали.

«Слушай — раз уж зашел об этом разговор... У меня какое-то странное впечатление...»

Произнеся эти слова, я тотчас пожалел о них. Я слишком возомнил о себе. Любила ли она меня в самом деле? Брат Амвросий... Он хотел доказать мне, доказать самой себе, — как я не догадался? — что она женщина. Может быть, потому она и отдалась мне, что хотела доказать, что она женщина.

«Я слушаю вас», — сказала она спокойно.

«У меня было такое впечатление, что ты... и то, и другое».

«Я очень тощая», — возразила она.

«Не только».

«Вы недогадливы. Вы плохо знаете женскую анатомию».

«А ты знаешь?»

«Свою знаю».

«Но... он же должен быть совсем крошечным».

«Я не виновата, — сказала она, — может, он у меня слишком развит».

В эту минуту снова грохнуло. Мы остановились.

«Боже мой, Фрося. Что это?»

Она криво усмехнулась.

«Я же вам сказала: война. Татары пришли. — Потом добавила: — Ничего страшного; это взрывают монастырь».

На вокзал мы примчались, когда поезд уже приближался и дежурный, тот самый, с которым я однажды имел удовольствие беседовать, вышел из станционного здания. Стоянка три минуты, ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выгрузить почту. Мысленно я прощался с Алевтиной, с тетей Лелей. Поезд пыхтел, замедляя ход. Я сунул Фросе кошелек, она бросилась за билетами. «Докуда?» — крикнула она, обернувшись. Я развел руками.

Три минуты, теперь уже две. Она подбежала ко мне.

«Обними меня».

«Ты купила только один билет!» — закричал я.

Но в глубине души я знал, что так будет, и был даже рад.

«Я без тебя не поеду. Мы еще не решили. Мы можем ехать вечерним поездом».

Мы стояли у подножки вагона.

«Уезжай скорее. Ты меня предашь».

«О чем ты, Фрося?»

«О том же. Тебя прижмут, и ты меня предашь. Это я его укукошила».

«Всё равно, — бормотал я. — Ты или не ты... Какая разница... У меня никого нет, кроме тебя... Фрося... Как же я теперь?»

Поезд мерно стучал на стыках, фигура дежурного с поднятым диском стояла вдали, понемногу уменьшаясь и загораживая другую.

Мне остается добавить... впрочем, об этом я уже говорил: если эти каракули найдут внимательного читателя, буду рад, но пусть он не думает, обнаружив в моем отчете кое-какие несообразности, что виной этому неумелое перо рассказчика. Я согласен, что перо неумелое. Если бы всё дело было только в нем!

С последним днем моего пребывания в городе, на его улочках и пустырях, под гостеприимным кровом тёти Лели, в подвалах монастыря, в комнате Алевтины заканчивается хроника N. Впоследствии я тщетно пытался отыскать наш город на карте. Водил пальцем по реке, по всем её изгибам, и нашел два-три населенных пункта. А город? Абсурдное предположение, что он мог значиться под другим названием, следовало отвергнуть именно потому, что оно было абсурдным. Другое объяснение — что города попросту не было, что он исчез с лица земли в первой трети четырнадцатого столетия и с тех пор уже не возрождался, — разумеется, тоже вздор, но, по правде говоря, кажется мне не более нелепым, чем первое, разве что более смелым. Но мало ли городов на Руси, которых не отыщешь ни на одной карте?

*Finis commentariorum*